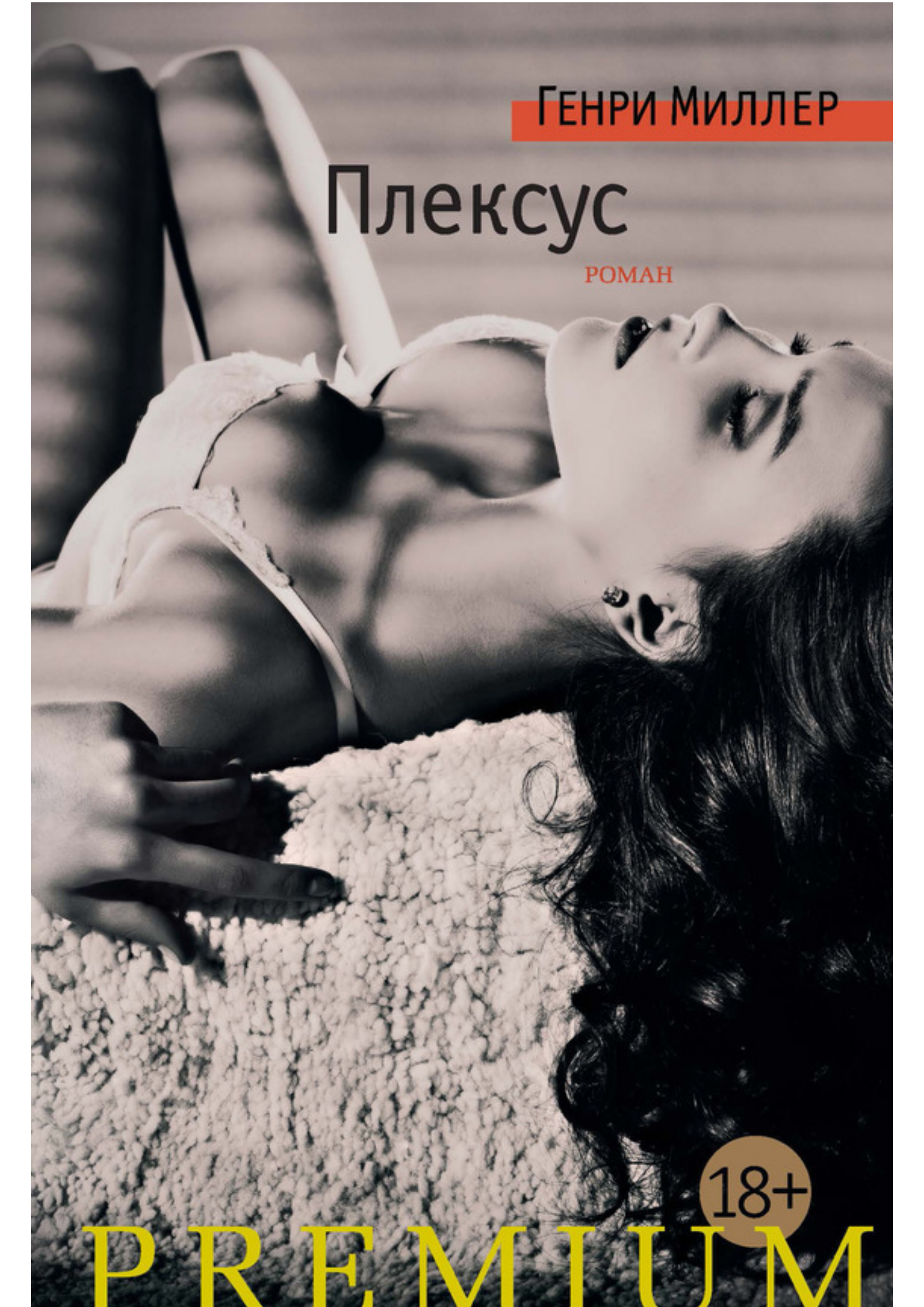




ГЕНРИ МИЛЛЕР

Плексус

РОМАН

18+

PREMIUM

Роза распятия

Генри Миллер

Плексус

«Азбука-Аттикус»

1953

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Coe)-44

Миллер Г.

Плексус / Г. Миллер — «Азбука-Аттикус», 1953 — (Роза распятия)

ISBN 978-5-389-12878-1

Генри Миллер – виднейший представитель экспериментального направления в американской прозе XX века, дерзкий новатор, чьи лучшие произведения долгое время находились под запретом на его родине, мастер исповедально-автобиографического жанра. Скандальную славу принесла ему «Парижская трилогия» – «Тропик Рака», «Черная весна», «Тропик Козерога»; эти книги шли к широкому читателю десятилетиями, преодолевая судебные запреты и цензурные рогатки. Следующим по масштабности сочинением Миллера явилась трилогия «Распятие розы» («Роза распятия»), начатая романом «Сексус» и продолженная «Плексусом». Да, прежде эти книги шокировали, но теперь, когда скандал давно утих, осталась сила слова, сила подлинного чувства, сила прозрения, сила огромного таланта. В романе Миллер рассказывает о своих путешествиях по Америке, о том, как, оставив работу в телеграфной компании, пытался обратиться к творчеству; он размышляет об искусстве, анализирует Достоевского, Шпенглера и других выдающихся мыслителей...

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-389-12878-1

© Миллер Г., 1953
© Азбука-Аттикус, 1953

Содержание

1	8
2	31
3	56
4	90
Конец ознакомительного фрагмента.	93

Генри Миллер

Плексус

Henry Miller

Originally published under the title

PLEXUS,

2nd part of the trilogy THE ROSY CRUCIFIXION

Copyright © 1953 by Henry Miller. The Estate of Henry Miller

All rights reserved

Published in Russian language by arrangement with Lester Literary Agency

© В. Минушин, перевод (гл. 8–17), 2017

© Н. Пальцев, перевод (гл. 1–7), 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017

Издательство АЗБУКА®

В конечном итоге место Генри Миллера будет среди исполинских литературных аномалий наподобие Уитмена или Блейка, оставивших нам не просто произведения искусства, но уникальный корпус идей, влияющих на весь культурный ландшафт. Современная американская литература начинается и заканчивается Генри Миллером.

Лоренс Даррелл

Книги Генри Миллера – одно из немногих правдивых свидетельств времени.

Джордж Оруэлл

Подруга Миллера Анаис Нин называла Генри «китаец». В этом прозвище, возможно, заключается суть Миллера, ведь Анаис знала его, как никто другой.

В данном случае «китаец» выражает отстраненную, восточного характера философичность Миллера. Он не страстный Жан Жене, не желчный Селин. Его книги – книги не борьбы с миром, но книги гармонического примирения.

Эдуард Лимонов. Священные монстры

Для Миллера европейская культура порочна именно потому, что она считает человека венцом природы, мерой всех вещей и ставит его над миром, изымая людской разум из животной стихии. Миллер рассуждает о возвращении человека в эту стихию, которое равнозначно освобождению личности.

Андрей Аствацатуров

Все темы послевоенных контркультурных авторов Миллер отработал еще до войны. Читая его книги сегодня, невольно завидуешь людям, которые жили в те времена, когда все то, о чем он пишет, было еще свежо и писатель мог, не стесняясь, построить книгу как череду рассказов о своих мистических переживаниях и рассуждений о том, куда катится мир.

Сергей Кузнецов

Миллер заболел самой отважной, самой опасной, самой безнадежной мыслью XX века – мечтой о новом единстве. В крестовый поход революции Миллер вступил с такими же фантастическими надеждами, как и его русские современники.

Революция, понимаемая как эволюционный взрыв, одушевляющий космос, воскрешающий мертвых, наделяющий разумом все сущее – от звезд до минералов.

В ряду яростных и изобретательных безумцев – Платонова, Циолковского, Заболоцкого – Миллер занял бы законное место, ибо он построил свой вариант революционного мифа.

Александр Генис

1

В облегающем персидском платье и тюрбане в тон, она выглядела обворожительно. В городе пахло весной, и она натянула на руки пару длинных перчаток, а на полную точечную шею небрежно накинула элегантную меховую горжетку. Обозревая окрестности в поисках жилья, мы остановились на Бруклин-Хайтс¹ – с тайным умыслом оказаться как можно дальше ото всех, с кем были знакомы. Единственным, кому мы намеревались дать наш новый адрес, был Ульрик. Вдали от Кронски, от Артура Реймонда начиналась для нас подлинная, свободная от непрошенных вторжений извне *vita nuova*².

В день, отведенный поискам уютного любовного гнездышка, мы оба так и лучились счастьем. Раз за разом, заходя в вестибюль и нажимая кнопку звонка, я чувствовал, как она прижимается ко мне, и отвечал тем же. Платье обнимало ее фигуру, как футляр скрипку. Никогда еще не была она так соблазнительна. Случалось, дверь отворяли раньше, чем нам удавалось разомкнуть объятия. Порой доходило до смешного: нас вежливо просили предъявить брачное свидетельство или продемонстрировать обручальные кольца.

Уже смеркалось, когда мы набрали на чуждую предрассудков добросердечную дамуюжанку, тотчас проникшуюся к нам симпатией. Квартиру она сдавала поистине роскошную, но заоблачной была и арендная плата. Мона, как и следовало ожидать, немедленно загорелась: именно о таких апартаментах она всю жизнь мечтала. А то обстоятельство, что просили за них вдвое больше, чем было нам по силам выложить, ее нисколько не смущало. На этот счет я мог не беспокоиться: она-де все «уладит». По правде говоря, мне и самому квартира нравилась не меньше; просто я не питал особых иллюзий по части того, удастся ли разрешить вопрос с квартплатой. Я не сомневался: с ними мы ее – и немедленно окажемся на мели.

Между тем у хозяйки дома наша платежеспособность, похоже, не вызвала опасений. Она пригласила нас в собственные апартаменты на втором этаже, усадила, подала шерри. Вскоре в дверях показался ее муж, столь же доброжелательный и любезный. Джентльмен до кончиков ногтей, он был родом из Виргинии. На обоих произвел благоприятное впечатление тот факт, что я служу в «Космодемонике». Супруги искренне удивились, услышав, что такой молодой человек, как я, занимает в компании столь ответственный пост. Мона, ясное дело, разыграла этот козырь по максимуму. Послушать ее, так мне не сегодня завтра светило кресло в совете директоров, а еще через пару-тройку лет, чем черт не шутит, должность вице-президента.

– Разве не так считает твой мистер Твиллигер? – обратилась она ко мне, провоцируя на утвердительный кивок.

Мы договорились, что внесем задаток, всего-навсего десять долларов – смешную сумму, если учесть, что в месяц предстояло выкладывать девяносто. Как мы их наскребем, хотя бы за первый месяц проживания, не говоря уж о мебели и бытовых мелочах, без которых не обойтись, – обо всем этом у меня не было ни малейшего представления. Я просто списал эти десять долларов как деньги, выброшенные на ветер. Светский жест, не больше того. Ничуть не сомневаясь, что мнение Моны изменится, едва мы вырвемся из их обезоруживающих объятий.

И как обычно, я ошибался. Оказывается, она твердо решила: въезжаем. А как насчет остальных восьмидесяти долларов? Их обеспечит один из ее штатных поклонников, служащий отеля «Брозтелл».

¹ Бруклин-Хайтс – исторический район, расположенный неподалеку от центра Бруклина.

² Новая жизнь (*ит.*).

– Кто это такой? – рискнул осведомиться я, впервые услышав это имя из ее уст.

– Ты разве не помнишь? Я же вас познакомила всего пару недель назад – когда вы с Ульриком поравнялись с нами на Пятой авеню. Он совершенно безобидный.

Поверить ей, так все они «совершенно безобидны». На языке Моны сие означало: они никогда не помыслят смутить ее бестактным предложением провести с ними ночь. Само собой разумеется, все они «джентльмены» и, как правило, порядочные рохли. Я долго рылся в памяти, пытаясь представить себе, как выглядел данный образчик элитарной породы. Все, что мне удалось вспомнить, – это то, что он был очень молод и очень бледен. Иными словами, ничем не примечателен. Как ей удастся удерживать своих выложенных кавалеров от того, чтобы запустить руки ей под юбку – притом что иные из них прямо-таки сгорали от желания, – оставалось для меня тайной. Всего вероятней – доверительным тоном (как однажды проделала это со мной) излагая им свою душещипательную историю. Дескать, живет она с родителями, мать у нее – старая ведьма, а отец болен раком и не встает с постели. К счастью, я редко проявлял повышенный интерес к этим галантным воздыхателям. (Главное – не слишком углубляться, не уставал твердить я себе.) Значимо для меня лишь одно: они «совершенно безобидны».

Обустроить новое жилище – задача не из простых; тут одной квартплатой не отделаешься. Мона, конечно, сумела позаботиться и об этом. Она облегчила бумажник своего неvezучего ухажера на целых три сотни. Строго говоря, затребовала-то она пятьсот, да бедняга признался, что его банковский счет горит синим пламенем. За каковую оплошность и был примерно наказан: вновь снискать благосклонность своей дамы сердца ему удалось, лишь приобретя для нее в универмаге экзотическое крестьянское платье и пару дорогих туфель. Что ж, впредь будет осмотрительнее...

Поскольку в тот день у нее была репетиция, мебелью и всем прочим решил заняться я сам. Начисто отвергнув как нелепую мысль о том, чтобы платить наличными, в то время как благосостояние нашей страны целиком зиждется на рассрочке. Мне тут же пришла в голову Долорес, в последнее время всерьез занявшаяся оптовыми поставками на Фултон-стрит. Отлично, к ней я и обращусь.

Отобрать все, чему предстояло украсить нашу роскошную брачную обитель, было делом одного часа. Обходя зал за залом, я выбирал действительно нужное и красивое, увенчав внушительный перечень новоприобретений великолепным письменным столом со множеством выдвижных ящиков. Долорес не удалось скрыть оттенка легкой озабоченности тем, сколь исправно мы будем вносить ежемесячные платежи, но я заверил ее, что Моне хорошо платят в театре. А я – я ведь еще тяну лямку в своем Космококковом борделе.

– Да, но алименты... – пробурчала Долорес.

– А, ты *это* имеешь в виду. Ну, это уже ненадолго, – отвечал я с улыбкой.

– Хочешь сказать, что намерен ее бросить?

– Ближе к тому. Всю жизнь ведь не проживешь с камнем на шее.

Она считала, что это вполне в моем стиле: дескать, чего еще и ждать от такого подонка. Впрочем, из ее тона явствовало, что подонки – народ, не лишенный приятности и обаяния. Прощаясь, Долорес добавила:

– Вообще-то, с тобой надо держать ухо востро.

– Та-та-та, – передразнил я. – Ну не расплатимся, так мебель заберут. О чем волноваться-то?

– Да я не о мебели, – отозвалась она, – я о себе.

– Ну, тебя-то уж я не стану подводить, сама знаешь.

И разумеется, подвел, пусть ненамеренно. В тот момент, подавив первоначальные сомнения, я свято и искренне верил, что все сложится наилучшим образом. Вообще, впад в уныние или отчаяние, я неизменно шел за поддержкой к Моне. Ее мысли были без остатка

заняты будущим. Прошлое было сказочным сном, прихотливое течение которого направлялось в новое русло с любым ее капризом. Согласно ее философии, опираясь на прошлое, нельзя делать выводы – это самый ненадежный способ оценивать вещи. Для нее прошлого просто не существовало, особенно прошлого, полного неудач и разочарований.

Мы на удивление быстро освоились в новых апартаментах. Как выяснилось, дом ранее принадлежал судье, человеку состоятельному, все в нем реконструировавшему по своему вкусу. А вкусом, надо признать, он обладал отличным, в чем-то сибаритским. Полы были инкрустированы редкими породами дерева, стены – дорогими ореховыми панелями. Комнаты украшали драпировки розового шелка, а в книжных шкафах, приди такая фантазия, можно было разлечься, как в спальном вагоне. Мы занимали всю переднюю половину первого этажа, выходявшего окнами на самый спокойный, аристократический квартал в Бруклине. Все наши соседи разъезжали на лимузинах, к их услугам были дворецкие, а один взгляд на ежедневный рацион их породистых псов и выхоленных кошек моментально наполнял наши рты голодной слюной. С обеих сторон окруженный особняками, только наш дом был разделен на квартиры.

Позади двух наших комнат, за раздвижными дверями, была еще одна – огромная; к ней примыкали небольшая кухня и ванная. По какой-то причине она так и осталась несданной. Возможно, на взгляд потенциальных съемщиков, она была темновата. Большую часть дня, благодаря окнам из дымчатого стекла, в комнате царил полумрак, как под монастырскими сводами. Однако стоило вспыхнуть в оконных стеклах лучам заходящего солнца, отбрасывающим на гладко отполированный пол огненные орнаменты, как все в ней преображалось. В эти сумеречные часы я любил в одиночестве расхаживать там взад и вперед в созерцательном расположении духа. Бывало и другое. Случалось, раздевшись, мы с Моной танцевали на сверкающем паркете, с любопытством вглядываясь в трепещущие магические знаки, какие писало дымчатое стекло на наших обнаженных телах. Или иначе: в приступе беспричинного веселья я совал ноги в бесшумные домашние туфли и выписывал по паркету круги и восьмерки, словно звезда ледового балета, или пуше того – ходил на руках, подпевая себе фальцетом. А порою, подвыпив, принимался корчить гримасы, подражая моим любимым персонажам много раз виденного бурлеска.

Первые несколько месяцев, когда нам каким-то чудом удавалось сводить концы с концами, промелькнули как в волшебном сне. Иначе не скажешь. Ни один смертный не нарушил нашей любовной идиллии неожиданным вторжением. Мы существовали только друг для друга – в теплом, уютном гнезде. И не нуждались ни в ком, не исключая и Господа нашего. Во всяком случае, так нам казалось. По соседству, на Монтегю-стрит, помещалась библиотека³ – суровое здание, чем-то напоминавшее морг, но полное бесценных сокровищ. Мона была в театре, а я читал. Читал все, что хотелось, притом с удвоенным вниманием. Часто я даже отрывался от книги – уж слишком прекрасны были эти стены. Как сейчас помню: не спеша закрываю книгу, поднимаюсь со стула, задумчиво и просветленно прохаживаюсь по квартире, испытывая величайшее удовольствие оттого, что живу. Замечу, не кривя душой: я ничего не желал, только бы длилось без конца это райское существование. Все, чем я владел, пользовался, все, что носил, было дарами Моны: шелковый халат, который был больше к лицу какому-нибудь прославленному актеру, идолу восхищенной публики, нежели вашему покорному слуге, восточные домашние туфли ручной работы, мундштук, который я пускал в ход лишь в ее присутствии. Страхивая пепел, я, бывало, скользил рассеянным взглядом, любуясь изяществом вещицы. Мундштуков она купила для меня целых три, все изысканные, необычные, поразительно тонкой работы. Они были так красивы, так артистичны, что впору было молиться на них.

³ Бруклинская публичная библиотека.

Неотразимую притягательность таило в себе и окружение гнездышка. Стоило чуть-чуть пройти в любом направлении, как ты оказывался в самых живописных местах города: под фантастической аркой Бруклинского моста или у старых причалов, где взад и вперед бойко сновали турки, арабы, сирийцы, греки и прочие смуглые люди с откровенно восточной внешностью; у верфей и доков, где, бросив якорь, застыли пароходы со всех концов света, или у торгового центра возле городской управы, по вечерам озарявшегося целым фейерверком разноцветных огней. А совсем рядом, на Коламбия-Хайтс, невозмутимо высились строгие шпили старых церквей, фасады респектабельных клубов, особняки богатых нью-оркцев – словом, та аристократическая сердцевина города, какую со всех сторон неумоимо подтачивали беспокойные полчища иноземцев, отверженных и неимущих, ютившихся по окраинам.

Мальчишкой я часто бывал здесь, наведываясь к тетушке, жившей над конюшней, примыкавшей к одному из отвратительнейших старых особняков. А неподалеку, на Сэккетт-стрит, в былые времена обитал мой давний товарищ Эл Берджер, сын капитана грузового буксира. Я познакомился с Элом на побережье Неверсинк-Ривер, когда мне было пятнадцать. Это он научил меня плавать как рыба, нырять с отмелей, стрелять из лука, бороться «по-индейски», а при надобности и просто пускать в ход кулаки, пробегать без усталости солидные расстояния и еще многому другому. Предки Эла были голландцы, и, как ни странно, все члены его семейства обладали прекрасным чувством юмора, – все, за вычетом его братца Джима, франта, спортсмена и напыщенного самодовольного дурня. Опять же в противоположность добропорядочным предкам в доме Берджеров постоянно царил невероятный кавардак. Каждый в этой семейке, похоже, шел собственным курсом: обе дочери, одна красивее другой, да и мамаша, дама весьма вольных манер, но тоже недурная собой и, что еще важнее, отличавшаяся на редкость веселым, щедрым, беззаботным нравом. Когда-то она пела в опере. Сам «капитан» редко показывался. А уж если показывался, то непременно на бровях. Не помню, чтоб миссис Берджер хоть раз накормила нас приличным обедом. Когда нам подводило живот от голода, она просто швыряла на стол какую-то мелочь: подите, мол, купите чего-нибудь поесть. Покупали мы всегда одно и то же: франкфуртеры, картофельную смесь, пикули, сладкий пирог, печенье. Зато у Берджеров в избытке водились горчица и кетчуп. Кофе неизменно бывал жидким как помой, молоко скисшим, во всем доме не сыскать было чистой тарелки, чашки, ножа или вилки. И все же не было ничего веселей этих бесшабашных трапез, а мы, подростки, отличались волчьим аппетитом.

Жизнь улицы – вот что интересовало меня больше всего и всего прочней отложилось в памяти. Друзья Эла, казалось, принадлежали к другой породе мальчишек, нежели те, с кем я обычно общался. На Сэккетт-стрит было больше теплоты, больше открытости, больше гостеприимства. Будучи едва ли старше меня, товарищи Эла неизменно производили впечатление более взрослых, более самостоятельных. Возвращаясь оттуда домой, я всегда чувствовал себя богаче. Быть может, отчасти потому, что там, на набережной, люди жили из поколения в поколение, сложившись в более однородную группу, чем на нашей улице. Одного из сверстников Эла я хорошо помню до сих пор, хотя он много лет как умер: Фрэнк Шофилд. Когда мы познакомились, ему было только семнадцать, но ростом он был со взрослого мужчину. Сейчас, по прошествии лет, я могу уверенно утверждать, что у нас с ним не было решительно ничего общего. Однако к Фрэнку притягивала его легкая, естественная, непринужденная манера держаться, его неизменная уступчивость, готовность без задних мыслей принять все, что ему предлагалось: от теплого рукопожатия и холодного франкфуртера до старого ножа для бумаги и прощального приветствия. И вот Фрэнк вырос, превратившись в грузного, неуклюжего, но инстинктивно сноровистого мужика – сноровистого настолько, чтобы стать правой рукой очень влиятельного газетчика, с которым Фрэнк разъезжал во все концы света и для которого выполнял тьму неблагодарных заданий. Быть может, после тех незабы-

ваемых дней на Сэккетт-стрит мы и встречались-то с ним три-четыре раза. Но я всегда о нем помнил. Стоило только представить его себе: толстого, добродушного, доверчивого, – как на душе становилось легче. Фрэнк никогда не писал писем, только открытки. Его каракули почти невозможно было разобрать. В одной строке он извещал, что с ним все о'кей, жизнь прекрасна, а ты куда делся, черт тебя побери?

Когда бы нас с Моной ни навещал Ульрик (а бывало это обычно по субботам и воскресеньям), я тут же вытаскивал его из дому – побродить по местам моих ранних лет. Знакомый с ними с детства, как и я, Ульрик в таких случаях предусмотрительно захватывал с собой тетрадь для эскизов – сделать, как он выражался, «пару почеркушек». Меня восхищала легкость, с какой он действовал кистью и карандашом. И в голову не приходило, что однажды наступит день, когда я сам примусь делать то же. Ведь он был художником, а я – писателем (во всяком случае, лелеял надежду рано или поздно стать таковым). Блистательный мир живописи представал мне страной пленительного волшебства, вход в которую был для меня раз и навсегда заказан.

Хотя за протекшие годы Ульрику так и не довелось снискать признания у собратьев по ремеслу, его отличало утонченное знание мира искусства. Никто лучше его не мог говорить о любимых живописцах. В ушах у меня и по сей день звучат обрывки его долгих красноречивых рассуждений о таких мастерах, как Чимабуэ, Уччелло, Пьеро делла Франческа, Боттичелли, Вермеер – всех не перечесать. Мы могли часами разглядывать альбом репродукций какого-нибудь из гигантов прошлого. Разглядывать, анализируя – вернее, анализировал он, а я слушал – достоинства одного-единственного полотна того или иного художника. Думаю, так тепло и проникновенно говорить о мастерах Ульрик мог потому, что сам был непритворно скромн и безраздельно предан искусству. Скромн и предан в подлинном смысле слова. Для меня не подлежит сомнению, что в душе и он был мастер. И хвала господу, так и не утратил своей способности преклоняться и боготворить. Ибо воистину редки те, кто от рождения наделен этим талантом.

Подобно детективу О'Рурку, Ульрик мог в самый неподходящий момент, застыв на месте, вслух восхищаться тем, чего любой другой не заметил бы. Случалось, во время нашей прогулки по набережной он вдруг остановится, укажет на какой-нибудь непрезентабельный, облупившийся фасад, а то и просто на обломок стены, и пустится в восторженный монолог о том, как изысканно они контрастируют с небоскребами на противоположном берегу или с устремившимися в небо мачтами судов у причала. Термометр мог быть на нуле, нас мог до костей пронизывать ледяной ветер – Ульрику все было нипочем. В такие минуты он с пристыженным видом извлекал из кармана какой-нибудь смятый конверт и огрызком карандаша делал «почеркушки». Не помню, правда, чтобы позднее эти наброски во что-то воплощались. По крайней мере, тогда. Те, кто снабжал Ульрика заказами (на эскизы абажуров, этикетки банок с консервированными бананами, помидорами и тому подобным), постоянно висели у него на хвосте.

А в перерывах между этими «трусами» он был горазд уламывать друзей – и особенно подруг – позировать ему в мастерской. В промежутках между заказами Ульрик писал яростно и самозабвенно, словно готовясь выставиться в Салоне⁴. Когда он оказывался перед мольбертом, на него внезапно находили все странности и причуды, отличающие подлинного маэстро. Энергия, с какой он набрасывался на холст, внушала священный ужас. Итоги же, как ни странно, всегда обескураживали. «Пропади все пропадом, – говорил он в полном отчаянии, – я всего-навсего безнадежный иллюстратор». Как сейчас, вижу его рядом с одной из его законченных – и неудавшихся – работ: он тяжело вздыхает, стонет, исходит желчью,

⁴ Парижский салон – одна из самых престижных художественных выставок Франции, официальная регулярная экспозиция парижской Академии изящных искусств.

рвет на себе волосы. Протягивает руку к альбому картин Сезанна, вглядывается в одно из любимых своих полотен, затем невесело усмехается, возвращаясь взглядом к собственному детищу: «Ну почему, черт возьми, хоть раз в жизни не дано мне написать ничего *такого*? Что мне мешает, как ты думаешь? О господи...» И издает безнадежный вздох, а подчас и нескрываемый стон.

– Знаешь что, давай выпьем? Что проку состязаться с Сезанном? Я знаю, Генри, знаю, где собака зарыта. Суть дела – не в *этой* картине и не в той, что я писал до нее, а в том, что все в моей жизни шиворот-навыворот. Ведь творчество – не что иное, как отражение самого творца, того, что он изо дня в день чувствует и думает, не правда ли? А что я такое с этой точки зрения? Старая калоша, которой давно пора на помойку, разве нет? Вот ведь как обстоит! Ну, *за помойку*! – И поднимает стакан, с болью, с неподдельной болью сжав губы.

Цenia в Ульрике его непритворное преклонение перед большими мастерами, полагаю, я восхищался еще и тем, сколь успешно он исполнял роль вечного неудачника. Не знаю никого другого, кому удавалось бы так высвечивать в своих постоянных крушениях и провалах некое подобие величия. Можно сказать, он обладал неповторимым даром заставить собеседника почувствовать, что, возможно, лучшее в жизни, помимо художнического триумфа, – это тотальное поражение.

Не исключено, что так оно и есть. Грехи Ульрика искупало полное отсутствие в нем творческого честолюбия. У него не было жгучей потребности в публичном признании; быть хорошим художником он стремился во имя чистой радости творения. Хорошее, только хорошее – вот все, что импонировало ему в жизни. Он был сенсуалистом до мозга костей. Играя в шахматы, Ульрик неизменно предпочитал набор фигур китайской работы – притом что играл он из рук вон плохо. Просто прикасаться пальцами к изящным фигуркам из слоновой кости доставляло ему несказанное удовольствие. Помню, как мы шныряли по музеям в поисках антикварных шахматных досок и наборов. Доведись Ульрику сесть за доску, некогда украшавшую стену средневекового замка, – и он был бы счастлив до небес, не важно, одержал бы верх над противником или проиграл. Все, чем пользовался, он выбирал с величайшей тщательностью: одежду, саквояжи, домашние туфли, настольные лампы – все без исключения. А выбрав, холил и лелеял избранное, как живое существо. О своих приобретениях он говорил, как другие говорят о любимых животных, даря им нешуточную долю своего душевного тепла, даже когда вокруг не было посторонних. Если подумать, прямая противоположность Кронски. Тот, бедолага, влачил свои дни среди барахла, выброшенного за ненадобностью его предками. Ничто для него не представляло ценности, не было наделено смыслом или значением. Все у него в руках разваливалось, крошилось, рвалось и засаливалось. И тем не менее в один прекрасный день (я так и не понял, как это случилось) Кронски начал писать. И начал с блеском. С таким блеском, что я едва верил своим глазам. Кронски предпочитал яркие, светоносные краски, будто сам он только что прибыл из России. Дерзостью и самобытностью отличались и темы его картин. Он писал по восемь-десять часов кряду, погружаясь в это занятие без остатка и без усталости напевая, насвистывая, пританцовывая, даже аплодируя самому себе. К несчастью, в его биографии это оказалось лишь мимолетной вспышкой. Спустя несколько месяцев она безвозвратно угасла. Не помню, чтобы после этого он когда-нибудь вымолвил хоть слово о живописи. Похоже, начисто забыл, что вообще держал в руках кисть...

Как раз в это время, когда события разворачивались для нас как нельзя лучше, я столкнулся в библиотеке на Монтегю-стрит с весьма примечательной личностью. Меня там уже успели хорошо узнать, и было отчего: я постоянно спрашивал книги, которых в библиотеке не было, настаивая, чтобы дорогие и редкие издания выписывали из других хранилищ, сетовал на скудость фондов, на нерасторопность обслуживания – в общем, зарекомендовал себя как зануда и придира. Хуже того, меня постоянно штрафовали за просроченную

сдачу или утерю библиотечных книг (каковые, разумеется, благополучно перекочевывали на мои книжные полки), а также за вырванные страницы. Время от времени мне, как школьнику, публично выговаривали за подчеркнутые красными чернилами строки или пометки на полях. И вот однажды, в процессе поиска каких-то труднодоступных монографий о цирке (зачем мне это нужно было, одному Господу ведомо), я разговорился с ученого вида человеком, который, как оказалось, был одним из служителей. В ходе разговора я узнал, что ему довелось видеть представления самых любопытных цирковых трупп в Европе. С его губ сорвалось слово *Медрано*. Абсолютно незнакомое, оно прочно запало мне в память. Как бы то ни было, я проникся к моему собеседнику такой симпатией, что тут же пригласил его к нам. А едва выйдя на улицу, позвонил Ульрику, предложив ему присоединиться к нашей компании.

– Ты когда-нибудь слышал о цирке Медрано? – спросил я.

Короче говоря, следующий вечер оказался почти безраздельно посвящен цирку Медрано и всему, что с ним связано. Когда библиотекарь распрощался с нами, я был в эйфории.

– Вот тебе и Европа, – бормотал я про себя, не в силах успокоиться. – И он там был... и все видел. *Черт побери!*

Скоро у библиотекаря вошло в привычку заглядывать к нам по вечерам; под мышкой у него всегда были какие-нибудь редкие книги, на которые, с его точки зрения, мне стоило взглянуть. Обычно он прихватывал с собой и бутылку. Подчас садился с нами за шахматы, задерживаясь до трех-четырех ночи. И каждый раз я понуждал его пускаться в рассказы о Европе; таков был, если можно так выразиться, «вступительный взнос» нашего нового знакомого. Тема Европы буквально пьянила меня; я готов был часами разглагольствовать о ней, словно и сам бывал там. (Совершенно так же вел себя мой отец. Никогда не выезжая за пределы Нью-Йорка, он рассуждал о Лондоне, Берлине, Гамбурге, Бремене, Риме, будто всю свою жизнь прожил за границей.)

Как-то вечером Ульрик притащил с собой большую карту – план парижской подземки. Встав на четвереньки вокруг расстеленной на полу карты французской столицы, мы все втроем пустились в захватывающее путешествие по ее улицам, наведываясь в библиотеки, музеи, соборы, цветочные магазины, мюзик-холлы, бордели, инспектируя кладбища, бойни, вокзалы и тысячу других мест. Наутро, поднявшись с постели, я ощутил, что настолько переполнен Европой, что у меня просто недостает сил отправиться на службу. Пришлось последовать давней привычке: сняв трубку, сообщить в контору, что беру отгул. Нежданные выходные всегда приводили меня в восхищение. Взять отгул значило выспаться в свое удовольствие, затем до полудня расхаживать по квартире в пижаме, крутить пластинки, лениво перелистывать книги, не спеша прогуляться по набережной, а после сытного завтрака сходить в театр на дневное представление. Больше всего я любил хорошие водевили, на которых хохотал до колик.

После таких именин сердца возвращение в рабочую колею становилось еще более трудным делом. Чтобы не сказать – невозможным. И Моне ничего не оставалось, как выдать боссу привычный звонок, извещая, что я вконец расклеился. Последний неизменно отвечал:

– Скажите ему, чтобы еще пару дней полежал в постели. И приглядывайте за ним хорошенько!

– Ну на этот раз они тебя раскусят, – пророчила Мона.

– Без сомнения, милая. Только я не так прост, как кажусь. Без меня им не обойтись.

– Возьмут да и пришлют кого-нибудь из своих проверить, в самом ли деле ты болен.

– А ты не открывай дверь, и все тут. Или скажи: Генри, мол, отправился к врачу.

Словом, до поры до времени все шло чудесно. *Лучше не придумаешь*. Я окончательно утратил интерес к работе в компании. Все, что было у меня на уме, – это начать писать. В

конторе я реже и реже демонстрировал служебное рвение. Единственными, кого я удоставлял персонального разговора, были люди с безупречной биографией. Со всеми остальными претендентами управлялся мой помощник. То и дело я покидал свой кабинет, заявив, что намерен проехать с инспекционным визитом по региональным отделениям компании. И, едва обеспечив себе алиби появлением в одном или двух – тех, что помещались в центре города, – прятался от рутинных забот в уютной тьме кинозала. Фильм кончался, я заглядывал еще в одно региональное отделение, докладывал оттуда в главную контору и с легким сердцем направлялся к дому. Случалось, остаток дня я проводил в картинной галерее или в библиотеке на Сорок второй улице. Или в мастерской Ульрика, или в дансинге. Неполадки со здоровьем учащались, становясь более и более продолжительными. Иными словами, все яснее обозначался кризис жанра.

Мое пренебрежительное отношение к делам служебным отнюдь не встречало у Моны протеста. В амплуа управляющего по кадрам она меня решительно не воспринимала.

– Твое дело – писать, – повторяла она.

– Согласен, – отзывался я, радуясь в душе, но ощущая потребность возразить ради успокоения совести. – Согласен! Скажи только, на что мы жить будем?

– Предоставь это *мне*!

– Нельзя же до бесконечности облапошивать простофилю.

– Облапошивать? Да все, кто дает мне деньги, без труда могут себе это позволить. Я делаю им одолжение, а не они мне, запомни.

Я не соглашался, но в конце концов уступал. Спорить можно было до хрипоты, но что, спрашивается, мог я предложить? Стремясь безболезненно завершить дискуссию, я снова и снова приводил довод, казавшийся мне неоспоримым:

– Хорошо, уйду со службы, но не сегодня.

Не раз и не два нам доводилось завершать мои импровизированные выходные совместной вылазкой на Вторую авеню. Просто невероятно, сколько знакомых обнаруживалось у меня в этой части Нью-Йорка! Все без исключения, разумеется, евреи, и по большей части – помешанные на чем-нибудь. Но очень компанейские. Перекусив у папаши Московица, мы двигались в направлении кафе «Ройал». Там-то уж точно можно было встретить любого, кого хотелось повидать.

Однажды вечером, когда мы не спеша прогуливались по Второй авеню и я как раз собирался в очередной раз бросить взгляд на витрину книжной лавки, с которой смотрело на прохожих лицо Достоевского (его портрет с незапамятных времен придавал лавке респектабельность), нас настигло бурное приветствие человека, которого Артур Реймонд именовавал не иначе как старейшим из своих друзей. Перед нами был Нахум Юд собственной персоной. Нахум Юд писал на идиш. Низкорослый, с огромной головой, поросшей рыжими волосами, он производил неизгладимое впечатление своей физиономией, словно вытесанной грубым резцом и более всего напоминавшей кувалду. Стоило ему начать говорить, и вас осыпало дробью: слова буквально цеплялись одно за другое. Открывая рот, Нахум Юд не только шипел и вспыхивал, как бикфордов шнур, но и фонтанировал, обдавая собеседника неиссякающим потоком слюны. Акцент у него, выходца из Литвы, был поистине чудовищный. А улыбка – неподражаемая, как у ощерившегося крупнокалиберного орудия. Она придавала его лицу свирепое обаяние хеллоуинской тыквенной рожи.

Я никогда не видел, чтобы Нахум Юд пребывал в ином состоянии, нежели кипучей-эффорическое. Вот он только что открыл для себя нечто чудесное, нечто неслыханное, нечто неповторимое. Само собою, изливая на вас свой энтузиазм, он попутно обдавал вас каскадом брызг. Однако струя, выплескивавшаяся меж его передних зубов, имела то же ободряющее действие, что и игольчатый душ. Правда, подчас вместе с нею на ваших щеках имели шанс приземлиться несколько непрошенных семечек.

Ухватившись за книгу, которую я держал под мышкой, он прорычал:

– Что это вы читаете? А-а, *Гамсун*. Отлично! Прекрасный автор. – И продолжал, не оставив себе времени поздороваться: – Надо нам присесть где-нибудь и потолковать. Вы куда направляетесь? Кстати, вы обедали? Я проголодался.

– Прошу прощения, – заметил я, – мне нужно взглянуть на Достоевского.

И бросил его посреди дороги вдохновенно ораторствовать перед Моной, неистово жестикулируя и беспрерывно переминаясь с ноги на ногу. Я застыл перед ликом Достоевского (это стало для меня почти ритуалом), в очередной раз пытаюсь прозреть в его знакомых чертах нечто новое, скрытое, потаенное. Внезапно в памяти всплыл мой приятель Лу Джекобс: тот, проходя мимо статуи Шекспира, каждый раз снимал перед ним шляпу. В этом простодушном жесте было нечто большее, чем в той дани восторженного поклонения, какую я привычно воздавал Достоевскому. Он больше напоминал молитву – молитву, диктуемую неодолимым стремлением проникнуть в секрет гения. А каким обычным, даже заурядным лицом наделила природа Достоевского! Таким славянским, таким мужицким. Лицом, с которым без малейшего труда можно затеряться в толпе. (Внешне Нахум Юд гораздо больше напоминал писателя, нежели великий Достоевский.) Я стоял неподвижно, в сто первый раз тщетно пытаюсь постичь тайну личности, скрывавшейся за этими чуть обрюзгшими чертами. Все, что мне удавалось отчетливо различить, – это печаль и упрямство. Печаль и упрямство вчерашнего арестанта, человека, явно сознательно избравшего для себя образ жизни тех, кто обитает на нижних этажах общества. Я весь ушел в созерцание. И наконец видел перед собой только художника – трагичного, непревзойденного художника, изваявшего целый пантеон причудливых индивидуальностей, подобных которым не было и уже не будет в литературе, индивидуальностей, любая из которых более зрима и неподдельна, более таинственна и непроницаема, нежели все свихнувшиеся российские самодержцы и жестокие, порочные папы римские, вместе взятые.

Внезапно я ощутил на плече руку Нахума Юда. Его глаза неистово вращались, в уголках рта поблескивала слюна. Видавший виды котелок, с которым он никогда не расставался, сполз до самого носа, придавая своему обладателю комичный и в то же время маниакальный вид.

– *Mysterium!*⁵ – прокричал он. – *Mysterium! Mysterium!*

Я непонимающе смотрел на него.

– Так вы не читали? – изумился он.

К этому моменту вокруг нас уже собралась кучка прохожих – вроде тех, что возникают повсюду, где показывается уличный торговец с нагруженной товаром тележкой.

– О чем вы? – переспросил я.

– О вашем Кноте Гамсуне. О самой лучшей его книге – по-немецки она называется «*Mysterium*».

– Он имеет в виду «Мистерии», – подсказала Мона.

– О да, «Мистерии», – подхватил Нахум Юд.

– Он мне все о ней рассказал, – продолжала Мона. – Похоже, она действительно замечательная.

– Лучше, чем «Странник играет под сурдинку»?

– О, *эта* – что о ней говорить! – поморщившись, встрял в разговор Нахум Юд. – За «Соки земли» они дали ему Нобелевскую премию. А «*Mysterium*» – об этом романе никто ничего не знает. Минутку, сейчас я вам все объясню... – Он умолк, развернулся вполборота и сплюнул. – Нет, не буду. Лучше сходите в вашу Карнегиевскую библиотеку и возьмите ее. Как это у вас по-английски? «Мистерии»? Почти то же самое, но «*Mysterium*» лучше.

⁵ Таинственное! (лат.)

*Mysterischer, nicht?*⁶ – Он обнажил зубы в своей неподражаемой, шириной с трамвайную колею улыбке, и котелок опять сполз ему на глаза. Внезапно до него дошло, что вокруг нас сгрудилась толпа зевак. – Расходитесь! – закричал он, воздевая руки к небу. – Мы тут не шнурками торгуем. Что на вас нашло? Или прикажете мне арендовать зал, чтобы без помех сказать знакомому несколько слов? Здесь вам не Россия. Расходитесь по домам... Ш-ш-ш! – И снова замахал руками.

Никто не шевельнулся; в толпе только добродушно заулыбались. Судя по всему, Нахума Юда в этих местах знали хорошо. Кто-то произнес несколько слов на идиш. Лицо нашего собеседника озарилось еще одной, с оттенком грустноватого самодовольства, неповторимой улыбкой. Беспомощно взглянув на нас, он объяснил:

– Они, видите ли, хотят, чтобы я прочел им что-нибудь на идиш.

– Отлично, – подхватил я, – почему бы и нет?

Он опять улыбнулся, на этот раз застенчиво.

– Совсем как дети, – резюмировал он. – Ну хорошо, расскажу им притчу. Вы ведь знаете, что такое притча, не так ли? Это притча про зеленую лошадь о трех ногах. Простите, я умею рассказывать ее только на идиш.

Заговорив на родном языке, Нахум Юд вмиг преобразился. Его лицо приняло столь печально-торжественное выражение, что мне подумалось: он вот-вот разразится слезами. Однако я ошибался: аудитория моего собеседника веселилась от души. Чем печальнее и серьезнее становился тон рассказчика, тем с большей неудержимостью покатывались со смеху его слушатели. Что до Нахума Юда, он сохранял невозмутимо серьезный вид. И на той же торжественно-скорбной ноте завершил свой рассказ, финал которого потонул в оглушительном взрыве всеобщего хохота.

– Ну, – снова заговорил он, решительно повернувшись спиной к собравшимся и ухватив каждого из нас за руку, – теперь мы можем пойти куда-нибудь послушать музыку. Я знаю очень милое место на Хестер-стрит, в подвальчике. Там поют румынские цыгане, как они вам? Опрокинем по рюмочке и обсудим «Mysterium», а? Кстати, вы при деньгах? У меня только двадцать три цента. – Он вновь ослабилась, на сей раз уподобившись огромному пирогу с клюквенной начинкой. По пути Нахум Юд то и дело приподнимал над головой котелок, здороваясь то с одним, то с другим прохожим. Порою он останавливался и вовлекал встречного в деловой разговор, длившийся не одну минуту. – Простите меня, – запыхавшись, извинился он, в очередной раз догнав нас с Моной, – я надеялся перехватить немного денег.

В румынском ресторанчике меня угораздило налететь на одного из бывших служащих нашей компании. В свое время Дейв Олински работал посыльным регионального отделения на Гранд-стрит. Его имя запало мне в голову потому, что в ночь, когда отделение вчистую ограбили, Олински измолотили чуть ли не до смерти. (То, что он все-таки выжил, явилось для меня настоящим сюрпризом.) Кстати, направили его на этот небезопасный участок по собственной просьбе: квартал был сплошь населен иностранцами, и Олински, владевший восемью языками, был уверен, что сколотит целое состояние на чаевых. Все, кого я знал (включая, разумеется, людей, которым приходилось с ним работать), испытывали к Олински живейшую неприязнь. Что до меня, то он надоедал мне хуже горькой редьки своими бесконечными рассказами о Тель-Авиве. Тель-Авив и Булонь-сюр-Мер – другие имена и названия ему, казалось, неведомы. Он повсюду таскал с собой пачку открыток с видами разных портовых городов, но на большинстве почему-то были запечатлены красоты Тель-Авива. Помню, незадолго до «рокового инцидента» на Гранд-стрит я направлял Олински на работу в Кэнерси. Расписывая местные достопримечательности, я как бы между прочим заметил:

⁶ Таинственное, не так ли? (нем.)

– Там превосходный *plage*⁷.

Французское слово в моих устах было не случайно: всякий раз, говоря о Булонь-сюр-Мер, Олински поминал треклятый «*plage*», на который ходил купаться.

За тот промежуток времени, что мы не виделись, поведал мне Олински, он немало преуспел в страховом бизнесе. И похоже, был недалек от истины: едва мы обменялись десятком слов, как он уже принялся всучать мне страховой полис. Как бы ни был мне антипатичен этот самонадеянный субъект, я не мешал ему разливаться соловьем, рекламируя сказочные преимущества договора с его фирмой. Пусть себе попрактикуется вволю, подумал я. И к вящему неудовольствию Нахума Юда, позволил Олински разглагольствовать и дальше, всем своим видом демонстрируя умеренный интерес ко всем видам страхования: от несчастного случая, от болезни, от пожара. Приободрившись, тот заказал нам выпивку и закуску. Мона поднялась с места и вступила в длинную беседу с владелицей ресторана. В разгар ее в зале появился еще один знакомец Артура Реймонда – адвокат по имени Мэнни Хирш. Он до страсти обожал музыку, и особенно музыку Скрябина. До Олински, помимо воли втянутого в общий разговор, не сразу дошло, о ком мы с таким энтузиазмом говорим. Когда же он смекнул, что речь идет всего-навсего о композиторе, на его лице запечатлелось глубочайшее отвращение. Может быть, нам имеет смысл перейти куда-нибудь, где не так шумно, закинул удочку он. Я ответил, что об этом не может быть и речи; и вообще у нас с Моной мало времени, так что если он намерен сообщить мне еще что-либо, лучше сделать это в темпе. Что до Мэнни Хирша, тот так и не закрыл рта с момента, когда подсел к нам за столик. В конце концов, улучив момент, Олински изловчился вновь оседлать конька, помахивая передо мной одним страховым полисом за другим. При этом ему приходилось постоянно напрягать голос, дабы перекрычать темпераментного Мэнни Хирша. В мои уши врывались два синхронных потока речи. Поначалу Нахум Юд, прикрыв одно ухо рукой, тоже пытался уловить ход разговора. Но скоро сдался и зашелся в приступе нервного смеха. А спустя еще миг присоединился к нестройному хору, без всякого перехода начав рассказывать одну из своих бесчисленных притч – рассказывать на идиш. Олински, впрочем, пронять было нелегко: теперь он говорил тише, но вдвое быстрее, памятуя о том, что каждая минута на счету. И даже когда все заведение задрожало от общего хохота, упорно предлагал мне обзавестись либо одним, либо другим полисом.

Когда я наконец объявил, что мне придется подумать, на лице у него появилось выражение человека, которого, пролетая, ужалила пчела.

– Но я же все ясно объяснил, мистер Миллер, – прохныкал он.

– Да, но у меня уже есть два страховых полиса, – солгал я.

– Ничего страшного, – моментально нашелся он, – мы их обналичим и поменяем на лучшие.

– Вот все это мне и нужно обдумать, – заключил я.

– Но здесь нечего обдумывать, мистер Миллер.

– Я не уверен, что так уж хорошо все уяснил, – отозвался я. – Пожалуй, вам имеет смысл заехать ко мне домой завтра вечером. – И невозмутимо черкнул ему свой мнимый адрес.

– А вы наверняка будете дома, мистер Миллер?

– Если задержусь, я вам позвоню.

– Но у меня нет телефона, мистер Миллер.

– Тогда пошлю вам телеграмму.

– Но на завтрашний вечер у меня уже запланированы два вызова.

⁷ Пляж (*фр.*).

– Тогда встретимся послезавтра, – продолжал я, не давая вывести себя из равновесия. – Или же, – добавил я с оттенком злорадства, – если вам удобно, заезжайте ко мне за полночь. До двух-трех ночи мы никогда не ложимся.

– Боюсь, для меня это слишком поздно, – промямлил Олински, окончательно обретая безутешный вид.

– Ну что ж, подумаем, – неторопливо проговорил я, почесывая затылок. – Почему бы нам не встретиться здесь – скажем, через неделю? Вечерком, допустим в полдесятого.

– Только не здесь, с вашего позволения, мистер Миллер.

– Прекрасно, тогда увидимся, где вы пожелаете. Завтра или послезавтра забросьте мне открытку. И прихватите с собой все полисы, не забудьте.

Пока тянулась эта финальная игра в кошки-мышки, Олински успел подняться и теперь, прощаясь, пожимал мне руку. Повернувшись к столу собрать бумаги, он обнаружил, что на бланке одного из его контрактов Мэнни Хирш машинально набрасывал фигурки животных, а на бланке другого Нахум Юд писал стихотворение на идиш. Нежданный поворот событий настолько вывел его из себя, что, побагровев от гнева, он принялся кричать на них сразу на нескольких языках. Спустя секунду вышибала – грек и в недавнем прошлом боксер – ухватил его за штаны ниже пояса и, оторвав от пола, понес к выходу. Когда голова Олински достигла дверного проема, хозяйка ресторана погрозила ему кулаком. На улице грек методично обшарил его карманы, извлек несколько кредиток, подал их хозяйке, а полученную от нее сдачу – несколько мелких монет – швырнул Олински, на всех четырех ползшему по тротуару с видом человека, которого средь бела дня застиг приступ радикулита.

– Нельзя так обращаться с людьми. Это жестоко, – нарушила молчание Мона.

– Ты права, но он на это напрашивался, – ответил я.

– Зря ты его подначивал.

– Согласен, но он же несносный прилипала! Не мы, так кто-нибудь другой задал бы ему трепку.

И я начал излагать историю моего знакомства с Олински. Объяснил, что не раз пытался наставить его на путь истинный, переводя из одного регионального отделения в другое. И все без толку: любое назначение завершалось для него крахом. Всюду его дискриминировали и притесняли – по его уверениям, «незаслуженно».

– Меня там просто не любят, – жаловался Олински.

– Похоже, вас нигде не любят, – заявил я ему в один прекрасный день, вконец потеряв терпение. – Скажите на милость: что за муха вас укусила? – Никогда не забуду его затравленный, уязвленный взгляд, когда я выстрелил в него этим вопросом. – Нечего отмалчиваться, – снова заговорил я, – это ваш последний шанс.

Его ответ поставил меня в тупик.

– Видите ли, мистер Миллер, я слишком амбициозен, чтобы стать хорошим посыльным. Мне следовало бы занять более ответственную должность. С моим образованием из меня вышел бы неплохой управляющий. Я знаю, как уменьшить производственные затраты, знаю, как более эффективно вести деловые операции, знаю, как привлечь в компанию новые инвестиции.

– Погодите, погодите, – перебил я. – Неужто вам не ясно: у вас нет ни малейшего шанса стать управляющим региональным отделением. Вы просто спятили. Вы и по-английски-то не умеете толком объясниться, не говоря уж о тех восьми языках, о которых трубите на всех углах. Вы не знаете, что значит ладить с окружающими. Вы – источник общего раздражения, разве не ясно? Кончайте вешать мне лапшу на уши вашими грандиозными прожектами, скажите мне только одно: как вас угораздило превратиться в то, во что вы превратились? То есть в самого несносного, безмозглого и беспардонного типа из всех, кого я знаю.

На это Олински растерянно замигал, что твой филин.

– Мистер Миллер, – начал он, – вы же знаете, что я стараюсь, что я делаю все, что в моих силах...

– Дерьмо! – в сердцах воскликнул я, больше не в силах сдерживаться. – Скажите мне как на духу: почему вы уехали из Тель-Авива?

– Потому что я хотел выйти в люди, вот и все.

– Иными словами, ни в Тель-Авиве, ни в Булонь-сюр-Мер вам не удалось выйти в люди?

Он выдавил кривую улыбку. Я снова заговорил, не давая ему возможности себя перебить:

– А с родителями вы ладили? А друзья у вас были? Постойте, постойте, – тут я поднял руку, чтобы предупредить его протестующий ответ, – хоть одна душа на белом свете призналась, что без вас ей жизнь не мила? А? *Что, язык проглотили?*

Олински молчал. Еще не капитулировав, но уже отступив по всем фронтам.

– Знаете, кем вам стоило бы стать? – неумолимо продолжал я. – Дятлом.

Он все еще не понимал, к чему я клоню.

– Дятел, – терпеливо растолковал я, – это тот, кто зарабатывает на жизнь тем, что доносит на других, стучит на них, понимаете?

– Так вы считаете, я *для этого* создан? – взвизгнул он, вскакивая и напуская на себя вид оскорбленной добродетели.

– На все сто, – заключил я не моргнув глазом. – А если не стукачом, так палачом. Знаете, – я очертил рукой зловещий круг в воздухе, – тем, кто накидывает веревку на шею.

Олински нахлобучил на голову шляпу и сделал несколько шагов к выходу. И вдруг, повернувшись на каблуках, как ни в чем не бывало вернулся к моему столу.

– Прошу прощения, – вновь заговорил он, – а не мог бы я попробовать еще раз – в Гарлеме?

– Отчего бы нет? – с готовностью отреагировал я. – Разумеется, я дам вам еще один шанс, но уж точно последний, зарубите себе это на носу. Знаете, вы начинаете мне нравиться.

Моя последняя фраза, похоже, привела его в еще большее замешательство, нежели все сказанное ранее. Я чувствовал, что его так и подмывает спросить почему.

– Послушайте, Дейв, – сказал я, приблизившись к нему лицом, будто намереваясь доверить ему нечто важное и сугубо конфиденциальное, – я направлю вас в самое трудное из наших региональных отделений. Сдюжите там, так уж наверняка сможете работать где угодно. Но об одном должен вас предупредить со всей серьезностью. Когда заступите, не вздумайте конфликтовать в конторе, не то... – и я выразительно провел пальцем по шее, – *смекаете?*

– А чаевые там хорошие, мистер Миллер? – осведомился он, сделав вид, что не слишком обескуражен последним моим замечанием.

– Милый мой, в тех местах не принято давать чаевые. И не пытайтесь их вымогать, искренне вам советую. Каждый раз, приходя домой, возносите Господу благодарственную молитву за то, что вернулись живым и невредимым. За три последних года наша компания недосчиталась в этом районе восьми своих посыльных. Выводы делайте сами.

Тут я поднялся из-за стола, взял его за предплечье и проводил до лестницы.

– Послушайте, Дейв, – сказал я, пожимая ему руку на прощанье, – можете мне не верить, но я вам не враг. Может статься, вы еще скажете мне спасибо за то, что я откомандировал вас в худшее региональное отделение во всем Нью-Йорке. Вам еще многому предстоит научиться, столь многому, что даже не знаю, как вас напутствовать. Самое главное – научитесь держать язык за зубами. Улыбайтесь, даже когда у вас на душе кошки скребут. Говорите спасибо, даже если вам не дают чаевых. Изъясняйтесь на одном языке, а не на всех сразу, да и на том говорите как можно меньше. Выбросьте из головы бредовую идею стать

управляющим. Постарайтесь стать образцовым посыльным. И не рассказывайте направо и налево, что вы родом из Тель-Авива: никому до этого нет дела, понимаете меня? Родились в Бронксе, вот и вся недолга. Не умеете ладить с людьми – прикиньтесь простачком. Вот вам на кино. Устройте себе выходной, посмотрите что-нибудь смешное для разнообразия. И от души надеюсь больше с вами не встречаться!

Спускаясь в тот вечер в подземку в обществе Нахума Юда, я вспомнил, как мы с О'Рурком по ночам делали вылазки в город. Именно к Ист-Сайду меня всегда влекло, когда накатывала неотвратимая волна ностальгии. Оказаться в Ист-Сайде было то же, что в отчий дом вернуться. Все здесь представляло непостижимо родным, узнаваемым. Впору было подумать, что в предыдущей жизни я был аборигеном гетто. Больше всего поражало, как все в этих местах множилось, почковалось, разрасталось вширь. Набухало и давало побег, победоносно пробиваясь к свету. Распускалось диковинными цветами, мерцая и поблескивая, как на сумрачных полотнах Рембрандта. Все, даже абсолютные мелочи, сияло и переливалось, становясь источником радостного изумления. Здесь был мир моего детства, причудливый и неповторимый, в котором самые обыденные вещи обретали сакральный смысл. Вокруг все бурно модернизировалось, а выброшенные за ненадобностью атрибуты прошлого становились для нищенствующих изгоев естественной средой обитания. В моих глазах они были воплощением канувшего в Лету жизненного уклада, при котором хлеб был еще хорошо пропеченным и вкусным; его можно было есть без масла и джема. При котором нездешний свет разливали по комнатам керосиновые лампы. При котором постели радовали просторностью и теплом, а старая мебель – комфортом. Меня всегда изумляли безупречная чистота и порядок, царившие под крышами этих обветшалых, будто на глазах крошившихся домишек. Нет ничего элегантнее, нежели отмеченное безукоризненной чистотой и гармонией убранство дома людей, пребывающих на пороге нищеты. Разыскивая пропавших подростков – служащих нашей компании, я попадал в сотни таких домов. И многое, что мы там заставляли, казалось ожившей иллюстрацией к книгам Ветхого Завета. Вторгаясь из ночного мрака в поисках какого-нибудь малолетнего правонарушителя или мелкого воришки, мы уходили оттуда с чувством, будто преломили хлеб с сынами Израиля. Как правило, у родителей не было ни малейшего представления о том, в какой мир попадали их дети, становясь нашими посыльными. Почти никому из них не доводилось и ногой ступить на порог регионального отделения. Перебираясь из одного гетто в другое, они даже краем глаза не замечали, какие странные, иррациональные, сверкающие миры пульсируют за их пределами. Порой меня подмывало взять одного из таких родителей под руку и провести под ярко освещенные своды Нью-Йоркской биржи, дабы он мог узреть, как его отпрыск курсирует взад и вперед со скоростью пожарной машины, а вокруг бушует подлинный шабаш с участием сотен обезумевших маклеров, – шабаш, оборачивающийся азартной и доходной игрой, подчас приносящей его сыну семьдесят пять долларов в неделю. Некоторые из таких мальчиков на побегушках застревали в подобном амплуа до тридцати, а то и до сорока лет, даже становясь обладателями особняков, ферм, доходных домов, увесистых пачек акций с золотым обрезом. Банковские счета многих из них переваливали десятитысячный рубеж. И при всем том они оставались мальчиками на побегушках – оставались до гробовой доски... В какой нелепый, бестолковый, ни с чем не сообразный мир с головой окунается иммигрант! Да и у меня от него голова частенько шла кругом. Разве мне, имеющему за плечами все преимущества человека, родившегося и прожившего в США двадцать семь лет, не пришлось начинать свой путь к минимальному благосостоянию с самой нижней ступеньки? И разве не стоили мне немислимых усилий те шестнадцать-семнадцать долларов, что я зарабатываю в неделю? А очень скоро тернистая писательская стезя лишит меня и этой малости, и тогда я стану беднее самого неимущего из этих безденежных иммигрантов. Мне придется, пугливо озираясь, просить по ночам подаяния чуть ли не на пороге собственного дома. Останавливаться возле

окон роскошных ресторанов, с завистью глядя, как едят и пьют внутри хорошо одетые люди. Благодарить мальчишек-газетчиков за брошенный пяти- или десятицентовик, на который я смогу купить чашку кофе с рогаликом.

Да, о таком повороте событий я задумывался задолго до того, как он произошел в действительности. Быть может, я и любил наше новое гнездышко такой нежной и трепетной любовью оттого, что отчетливо сознавал его недолговечность. Наше «японское» гнездышко, как я его нарек. Ибо оно было просторно, чисто, с удобным низким диваном посередине, с прекрасным освещением, ибо не было в нем ни одного лишнего предмета мебели, бархатные драпировки мягко переливались, а паркет сверкал, будто его изо дня в день надраивала команда полотеров... Сами того не сознавая, мы словно принимали участие в отправлении некоего таинственного ритуала. К этому побуждало нас место, где мы обитали. Созданное для утех богача, оно стало прибежищем двоих, чьим единственным богатством был их внутренний мир. Не потому ли каждая книга, что появлялась на здешних полках, добывалась ценою упорных усилий, читалась с неослабевающим интересом и вносила в наше существование драгоценное разнообразие? Даже потрепанная Библия с выпадающими листами могла похвастать своей особой историей...

Однажды, ощутив потребность перелистать Библию, я отрядил Мону на поиски, причем строго наказав не тратить на покупку.

– Пусть тебе кто-нибудь подарит. Загляни в ближайший филиал Армии спасения или в одну из религиозных миссий.

В точности последовав моим указаниям, она, однако, везде получила от ворот поворот. (Чертовски странно, подумал я про себя.) И все-таки мое желание не осталось втуне: как-то в субботу после полудня на пороге у нас появляется кто бы вы думали? Безумный Джордж! Сидит себе и ждет, пока я вернусь с работы. А Мона потчует его чаем с печеньем. Вид у меня был такой, будто я столкнулся с привидением.

Само собой разумеется, Моне и в голову не могло прийти, что перед нею – тот самый Безумный Джордж, кто так часто вторгался в мои детские сны. Она видела перед собой всего-навсего человека, вещавшего Слово Божие, стоя на подножке своей конной повозки. Уличные мальчишки всласть резвились, норовя запустить всякой дрянью ему в лицо, а он, с длинным кнутом в руке, ничтоже сумняшеся одарял их благословением, повторяя:

– Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне...⁸ Блаженны кроткие и нищие духом...⁹

– Помнишь меня, Джордж? – спросил я. – Ты привозил нам дрова и уголь. Я жил на Дриггс-авеню, в Четырнадцатом округе.

– Я помню всех детей Божиих, – отвечал Джордж. – До третьего и четвертого колена. Да благословит тебя Бог, сын мой, да пребудет с тобою во веки веков Дух Святой. – И, не давая мне рта раскрыть, принялся вещать, как встарь: – Я свидетельствую Сам о Себе, и пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал обо Мне...¹⁰ Аминь! Аллилуйя! Слава Господу!

Я поднялся и крепко обнял Джорджа. Теперь он сделался стариком, дряхлым, безобидным, немощным стариком, последним, кого я ожидал увидеть под моей крышей; он, неизменно ужасавший нас, малолеток, своим длинным кнутом, пугавший грозными словами об адских муках, серных озерах и вечном проклятии. Он, яростно стегавший свою лошадь, когда она скользила по обледеневшей мостовой, вздымая к небу сжатый кулак и

⁸ Евангелие от Матфея, 19: 14.

⁹ Там же, 5: 3, 5.

¹⁰ Евангелие от Иоанна, 5: 31, 37.

призывая кару Божию на нас, уличных несмышленишей. Господи, ну и доставалось же ему от нас в те давние дни!

– Безумный Джордж! Безумный Джордж! – вопили мы до посинения. А затем принимались бомбардировать его снежками, плотными, спрессованными комками льда и снега, подчас попадая промеж глаз и заставляя корчиться от боли.

Пока он с проворством демона гонялся за кем-нибудь из нас, другие норовили стянуть с его повозки что-нибудь из овощей и фруктов или сбросить в канаву мешок с картофелем.

Когда Безумный Джордж обезумел, оставалось тайной. Казалось, с самого рождения он, взгромоздившись на подножку своего возка, начал проповедовать Слово Божие. Несгибаемый, как пророки давно минувшего, и весь изрытый язвами, как иные из пророков библейских.

Последний раз я видел Джорджа Дентона двадцать лет назад. И вот опять, собственной персоной, вещает он об Иисусе и Свете Небесном.

– Пославший Меня есть со Мной, – слышу из его уст. – Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно...¹¹ И познаете истину, и истина сделает вас свободными¹². Аминь, брат мой! Да пребудет с тобой благодать Божия!

Расспрашивать человека вроде Джорджа о том, что выпало на его долю за прошедшие двадцать лет, смысла не имело. Скорей всего, они пронеслись для него как сон. И очевидно, столь же незначимы в его глазах перемены, какие вносит в нашу жизнь быстротекущее время. Будто не ведая о существовании автомобиля, он, как и прежде, бороздил городские улицы своей конной повозкой. И кнут, лежавший подле него на полу, казался символом незыблемости его видения мира.

Надо предложить ему сигарету, подумалось мне. А Мона держала в руках бутылку портвейна.

– Царство Божие, – наставительно изрек Джордж, подняв руку в знак протеста, – не в хлебе насущном, но в бытии праведном, мире и радости во Святом Духе... Негоже праведнику вкушать яств земных, коими брат твой ослаблен, или устыжен, или введен во искушение быть может.

Последовала долгая пауза, в течение которой Мона и я отхлебнули по глотку портвейна.

Как бы не видя и не слыша погрязших во искушении, Джордж невозмутимо возгласил:

– Но знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии¹³. Аминь! Аминь!

Получив столь весомую единовременную инъекцию Священного Писания, я беззлобно рассмеялся. И Джордж не осерчал, не вспылал гневом – он просто продолжал нести свое. Ибо что мы были в его глазах, как не сосуды скудельные, в каковые надлежало вливать благословенный нектар, струившийся из сосцов Пресвятой Богородицы? Его устремленный на собеседника взор вообще не замечал мирского, преходящего, бренного. Не было для него различия, где преклонить голову – под крышей ли дворца или убогой хижин; и быть может, лучшим прибежищем от бурь и ненастий оставалась для него конюшня, куда он ставил на ночь своих лошадей. (Поговаривали, что он и спал вместе с ними.) Нет, на земле ему была предуготована миссия, и эта миссия дарила ему радость бытия и спасительное забытие. С рассвета до заката он неустанно нес людям Слово Божие. Даже на городском рынке, нагружая свою повозку плодами земными, продолжал он нести в мир свет Евангелия.

¹¹ Евангелие от Иоанна, 8: 29.

¹² Там же, 8: 32.

¹³ Первое послание к коринфянам, 6: 19–20.

Какое завидное, не скованное путами внешних условностей существование, подумалось мне. Помешанный, скажете вы? Само собой, куда уж дальше. Но в его помешательстве не было озлобленности. Ведь Джордж так ни разу и не огрел никого из нас своим длинным кнутом. Он всего лишь звонко щелкал им по мостовой, пытаясь внушить нам, нечестивым озорникам, что вовсе не так уж безумен, стар и беспомощен.

– Отторгните дьявола, – ораторствовал Джордж, – и обратится он в бегство. Раскройте души Господу, и Он примет вас в лоно Свое. Омойте ваши руки, грешные, и очистите сердца ваши, неверующие... Умалитесь перед ликом Господним, и Он вас возвысит.

– Джордж, – с трудом выговорил я, безуспешно борясь со смехом, – как с тобой замечательно! Совсем как...

– Сидящему на престоле и Агнцу благословение...¹⁴ Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего¹⁵.

– Ладно, ладно. Джордж, а ты помн...

– Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их¹⁶.

Тут Джордж вытащил огромный грязный носовой платок, красный в горошек, и вытер глаза, затем энергично высморкался.

– Аминь! Славьте Господа за мощь Его всеблагую!

Он поднялся с места и подошел к камину. На нем лежала начатая рукопись, придавленная сверху статуэткой с изображением пляшущей индусской богини. Джордж незамедлительно развернулся на сто восемьдесят градусов и громким голосом возгласил:

– Скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего...¹⁷ Но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам¹⁸.

В этот момент мне послышалось, что снаружи встрепнулись кони. Я подошел к окну. Джордж еще сильнее повысил голос. Теперь из его горла исходил поистине трубный глас:

– Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты один свят¹⁹.

Лошади тянули поводья, повозка сдвинулась с места, уличные мальчишки вопили от восторга, расхватывая с нее что попало. Я сделал знак Джорджу приблизиться к окну. Он все еще исходил криком:

– ...Воды, которые ты видал, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки. И десять рогов...²⁰

– Поспеши, Джордж, иначе они ускачут.

С быстротой молнии Джордж схватил свой кнут и выскочил на улицу.

– Изыди, Иезавель! – воззвал он. – Изыди!

И с тем же проворством, как исчез, вновь появился на пороге, протягивая нам корзину с яблоками и несколько кочанов цветной капусты.

– Примите благословение Господне, – изрек он. – Мир вам! Аминь, брат! Возрадуйся, сестра! Слава Господу на небеси!

¹⁴ Откровение Иоанна Богослова, 5: 13.

¹⁵ Там же, 7: 3.

¹⁶ Там же, 7: 16–17.

¹⁷ Там же, 10: 4.

¹⁸ Там же, 10: 7.

¹⁹ Откровение Иоанна Богослова, 15: 4.

²⁰ Там же, 17: 15–16.

Затем он вернулся к своей повозке, стегнул лошадей и, на все стороны раздавая благословения, исчез из поля зрения.

Лишь несколько позже обнаружил я забытую им на столе Библию – потрепанную, замусоленную, сплошь испещренную пометками, без переплета, с оторванными уголками страниц, с выпадающими листами. Но как бы то ни было, возжаждав Слова Божия, я обрел Его. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам»²¹. Я и сам понемногу заражался безумием Джорджа. Писание ударяет в голову сильнее самых крепких вин. Открыв Библию наугад, я тут же набрел на одно из своих любимых мест:

«И на челе ее написано имя: ТАЙНА, ВАВИЛОН ВЕЛИКИЙ, МАТЬ БЛУДНИЦАМ И МЕРЗОСТЯМ ЗЕМНЫМ.

Я видел, что жена упоена была кровию святых и кровию свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим.

И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов.

Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится»²².

Не знаю почему, но всякий раз, пообщавшись с адептами веры, я немедленно начинаю испытывать обостренный голод и жажду – проще говоря, стремление проглотить и выпить все на свете, что того заслуживает. Должно быть, насыщенный идеями дух инстинктивно сообщает аналогичную потребность всем членам и частям моего тела. Не успел Джордж исчезнуть за поворотом, как я принялся раздумывать о том, есть ли в нашем треклятом аристократическом квартале булочная, откуда можно было бы принести прилично изготовленный штрудель, пончики или на славу пропеченный кекс с корицей, который так и тает во рту. А опрокинув еще пару бокалов портвейна, стал грезить о яствах более калорийных – вроде картофельных клецек, плавающих в темном соусе с пряностями, или нежной лопатки молочного поросенка, фаршированной отварными яблоками, каковую можно было предварить копченой грудинкой и патиссонами; или блинов, пеканов и бразильских орешков, или русской шарлотки – такой, какую готовят только в Луизиане. Короче говоря, в данный момент меня устроило бы любое блюдо, лишь бы оно было сочно, питательно и вкусно. Скоромной пищи – вот чего я жаждал всем своим существом. Скоромной пищи и вина, бодрящего дух и тело. А также рюмки отборного кюммеля, дабы достойно завершить трапезу.

Я пораскинул мозгами, к кому из знакомых можно было бы заглянуть в надежде на сытный ужин. (Большинство их, к сожалению, не имели привычки питаться дома.) На память пришли несколько, но одни слишком далеко жили, а с другими отношения сложились так, что сваливаться им на голову без предварительной договоренности было просто неловко. Мона, разумеется, решительно выступала за то, чтобы пойти в какой-нибудь шикарный ресторан, наестся до отвала, а затем... затем мне предстояло тихо посидеть за столом, дожидаясь, пока она не отыщет там кого-либо из своих поклонников, который почел бы за одолжение заплатить по счету. Мне эта идея отнюдь не импонировала. Такое мы уже проделывали, и не раз. Помню даже, как мне случилось чуть ли не до рассвета просидеть за ресторанным столиком в надежде, что покажется человек с туго набитым кошельком. Нет уж, благодарю покорно. Коль скоро мы собираемся нажраться в собственное удовольствие, платить я намерен из собственного кармана.

– Кстати, сколько у нас денег? – осведомился я. – Ты везде пошарила?

²¹ Евангелие от Матфея, 7: 7.

²² Откровение Иоанна Богослова, 17: 5–8.

Наскрести удалось не больше семидесяти двух центов. До полочки оставалось целых шесть дней. И я был слишком утомлен (и голоден), чтобы ради нескольких долларов одно за другим объезжать региональные отделения компании, где служили знакомые.

– Давай сходим в шотландскую булочную, – предложила Мона. – Там кормят очень незатейливо, но сытно. *И дешево.*

Шотландская булочная – унылого вида заведение с отделанными мрамором столиками и полом, усеянным опилками, – помещалась по соседству с городской управой. Владели ею угрюмые пресвитериане, выходцы из глухой провинции. Их выговор неприятно напомнил мне речь родителей Макгрегора. В каждом слогe, срывавшемся с их губ, явственно слышалось позвякивание разменной монеты. Вдобавок к очевидной прижимистости их отличало какое-то странное высокомерие, складывалось впечатление, что от вас ожидают безмерной признательности в ответ на элементарную вежливость и более чем ординарное обслуживание.

Нам подали нечто трудноопределимое с кусками жилистой конины, плавающими в жирной овсянке, и ячменными лепешками, намазанными маслом; тонкий лист незрелого латука, судя по всему, призван был исполнить функцию гарнира. Вкуса у данного блюда не было решительно никакого; готовила его старая дева с постной физиономией, похоже ни разу в жизни не улыбнувшаяся свету дня. По мне, лучше уж сожрать целую кастрюлю перловой похлебки с гренками. Или пару горячих франкфуртеров с картофельной смесью, бесценно появившихся на столе в доме предков Эла Берджера.

Что и говорить, трапеза опустила нас на грешную землю. И все-таки объявшая меня эйфория не исчезла окончательно. Невесть откуда появилось чувство удивительной легкости и ясности, то неуловимо обострившееся ощущение всего происходящего вокруг, которое у меня обычно сопровождало периоду длительного голодания. Каждый раз, как распахивалась дверь, в наши уши с улицы врвался оглушительный лязг и грохот. Булочная выходила фасадом на трамвайные пути; напротив нее помещались фотоателье и магазин радиотоваров, а ближайший перекресток был арендой нескончаемых автомобильных пробок. Смеркалось; когда мы поднялись и двинулись к выходу, в городе стали зажигаться уличные фонари. Заломив шляпу набекрень, лениво пожевывая зубочистку, я замедлил шаг на тротуаре, внезапно осознав, что вокруг чудесный теплый вечер, один из последних вечеров уходящего лета. В мозгу проносились бессвязные обрывки мыслей. К примеру, вновь и вновь вставал в памяти день, когда, чуть ли не пятнадцать лет назад, на том самом месте, где сейчас царил подлинный бедлам, вскакивал я на трамвайную подножку вместе с моим закадычным другом Макгрегором. Трамвай был открытый, а направлялись мы в Шипсхед-Бей²³. Под мышкой я держал роман «Санин»²⁴. Едва дочитав, я собирался предложить его Макгрегору. Вспоминая приятное потрясение, какое произвела во мне эта ныне забытая книжка, я вдруг услышал до боли знакомую мелодию, лившуюся из громкоговорителя в магазине радиотоваров. Кантор Сирота исполнял один из старых молитвенных гимнов. Я сразу узнал его голос, ибо слышал этот гимн десятки раз. В свое время я незамедлительно приобщал к своей коллекции каждую новую его пластинку. Несмотря на то что стоили они недешево...

Я искоса взглянул на Мону: мне хотелось узнать, как действует на нее эта мелодия. Ее глаза увлажнились, лицо напряглось. Без слов я взял ее за руку и мягко сжал в своей. Так мы простояли несколько минут, пока музыка не смолкла.

– Узнаешь? – негромко проговорил я.

Она молчала. Губы ее дрожали. По щеке скатилась слеза.

²³ *Шипсхед-Бей* – район на берегу одноименного залива, отделяющего основную часть Бруклина, Нью-Йорк, от восточной части Кони-Айленда.

²⁴ Нашумевший «аморальный» роман Михаила Арцыбашева (1907).

– Мона, милая Мона, какой смысл это скрывать? Я все знаю, все давно знаю... Неужели ты думала, что я начну сторониться тебя?

– Нет, Вэл, нет. Я просто не могла заставить себя тебе открыться. Не знаю почему.

– Но, Мона, дорогая, неужели тебе не приходило в голову, что ты только еще дороже мне *оттого, что ты – еврейка?* Я тоже не знаю почему, но это так. Ты напоминаешь мне женщин, о которых я мечтал еще мальчишкой, – героинь Ветхого Завета. Руфь, Ноеминь, Эсфирь, Рахиль, Ревекка... Незабываемые имена. В детстве меня часто удивляло, почему их не носит никто из моих знакомых.

Я обнял ее за талию. Теперь она тихонько всхлипывала.

– Подожди. Мне надо еще кое-что тебе сказать. И имей в виду: это не каприз, не минутное настроение. Я хочу, чтоб ты знала: я говорю от души. Я долго вынашивал это в себе.

– Не надо, Вэл. Пожалуйста, не надо. – Протянув руку она накрыла мне рот пальцами. Я выждал несколько мгновений, потом мягко разомкнул их.

– Дай мне сказать, – попросил я. – Я не сделаю тебе больно. Разве смог бы я причинить тебе боль *сейчас?*

– Но я знаю, что ты хочешь сказать. И я... я не стою этого.

– Ерунда! Ну послушай... Помнишь тот день, когда мы поженились... там, в Хобокене? Помнишь эту мерзкую церемонию? Я ее никогда не забуду. Да, так вот о чем я подумал... Что, если мне перейти в иудаизм?.. Не смейся, я серьезно. И что, собственно, в этом странного? Переходят же люди в католичество или магометанство. Ну а я перейду в иудаизм. И по самой веской причине на свете.

– По какой же? – В полном недоумении она подняла на меня взгляд.

– Потому что ты еврейка, а я люблю тебя – разве этого мало? Я люблю в тебе все... так почему бы мне не полюбить твою религию, твой народ, твои обычаи и традиции? Ты ведь знаешь, я не христианин. Я так, неизвестно что. Даже не гой. Слушай, давай пойдем к раввину и попросим, чтобы нас сочетали браком по всей форме?

Она внезапно разразилась смехом, да так, что едва устояла на ногах. Порядком обескураженный, я съязвил:

– Ну да, для этой роли я недостаточно хорош, не так ли?

– Да перестань! – перебила она. – Ты дурак, ты шут, и я – я люблю тебя. Я не хочу, чтобы ты делался евреем... да из тебя еврея и не получится. В тебе слишком... слишком много всего намешано. И кто бы что ни говорил, мой дорогой Вэл, знай: у меня тоже нет ни малейшего желания быть еврейкой. И слышать об этом не хочу. Прошу тебя, не надо больше об этом. Я *не* еврейка. Я *не* шикса. Я просто женщина – и ко всем чертям раввина! Ну хватит, пошли домой...

Мы возвращались в гробовом молчании – молчании не враждебном, но горестном. Широкая ухоженная улица, на которую мы вышли, предстала более чопорной и респектабельной, чем когда бы то ни было; на такой строгой, прямой, законченно буржуазной улице могли жить только протестанты. Массивные фасады из бурого камня, одни – с тяжелыми гранитными балюстрадами, другие – с бронзовыми перилами тонкой работы, придавали особнякам торжественно-неприступный вид.

Когда мы достигли нашего любовного гнездышка, я весь ушел в свои мысли. Рахиль, Эсфирь, Руфь, Ноеминь – эти чудесные библейские имена, тесня друг друга, роились у меня в голове. Где-то у основания черепа, сияясь облечь себя в слова, смутно брезжило давнее воспоминание... «Но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом»²⁵. Возникнув невесть откуда,

²⁵ Книга Руфь, 1: 16.

эти слова неумолчно отдавались в моих ушах. Есть в Ветхом Завете какой-то неповторимый ритм, какое-то ощущение вечного повтора, неотразимое для уха англосакса.

И вновь из ниоткуда всплыла еще одна фраза: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?»²⁶

Выводя губами эти завораживающие строки, я снова вижу себя – вижу маленьким мальчиком, сидящим на детском стульчике у окна в нашем квартале. Помню, раз я заболел и с трудом выздоравливал. Кто-то из родственников принес мне большую тонкую книжку с цветными картинками. Она называлась «Библейские истории». Одну из них я перечитывал без конца: она повествовала о пророке Данииле, брошенном в ров со львами.

И вот я снова вижу себя – постарше, но еще в коротких штанишках. Я сижу на передней скамье в пресвитерианской церкви. Проповедник – дряхлый старик; его именуют преподобным доктором Доусоном. Он родом из Шотландии, но, не в пример своим соплеменникам, человек мягкий, отзывчивый, душевно привязанный к своей пастве. Прежде чем начать проповедь, он зачитывает прихожанам пространные фрагменты Писания. Испытывает терпение собравшихся, шумно сморкаясь, не спеша пряча носовой платок в задний карман брюк, отпивая большой глоток воды из стоящего на кафедре стакана, затем звучно прочищая горло и устремляя очи горе, и так до бесконечности. Он уже далеко не такой вдохновенный оратор, как во время оно. Доктор Доусон стареет и то и дело растекается мыслью по древу. Порой, потеряв нить, он вновь раскрывает Библию и зачитывает вслух один или два стиха, дабы вдохнуть новую энергию в слабеющую память. Мне больно и неловко становиться свидетелем этих приступов старческой немощи; когда он забывает текст, я вздрагиваю и беспокойно ерзаю на скамье. Безмолвно болея за него всей юной душой.

И только сейчас, в ласковой полутьме нашего безупречно убранного любовного гнездышка, начинаю понимать, где берут начало эти магические речения, готовые сами собою слететь с моих губ. Направляюсь к книжному шкафу и достаю оттуда потрепанную Библию, забытую в моих пенатах Безумным Джорджем. Рассеянно перелистываю страницы, с теплотой вспоминая о старике Доусоне, о моем сверстнике Джеке Лоусоне, умершем таким молодым и такой страшной смертью, о гулком подвале старой пресвитерианской церкви, где мы каждый вечер поднимали облака пыли, маршируя взводами и батальонами, щеголяя друг перед другом нашивками и шевронами, эполетами и рейтузами, размахивая игрушечными саблями и флажками под оглушительный бой барабанов и пронзительный визг горнов, не щадивший наши барабанные перепонки. Эти воспоминания ожившими картинками сменяют одно другое перед моим мысленным взором, а в ушах неумолчно звучат, набегая волнами прибой, стихи священной книги, которые преподобный отец Доусон разворачивал перед нами, как механик в кинематографе – катушку восьмимиллиметровой пленки.

И вот эта книга раскрыта у меня на столе; и раскрыта она, стоит отметить, на главе, носящей имя Руфь. «КНИГА РУФЬ», – написано вверху крупным шрифтом. А еще выше на той же странице запечатлен 25-й, завершающий стих Книги Судей Израилевых, стих поистине незабываемый, уходящий так далеко за грань детства, в темный лабиринт минувшего, что для смертных истоки его непостижимы; им остается лишь молча благоговеть перед чудом этого стиха:

«В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым»²⁷.

«В какие дни?» – спрашиваю себя. Когда расцвела прекрасная эпоха и отчего она предана забвению? «В те дни не было царя у Израиля». Нет, это не глава из истории еврейского народа; это глава из истории рода человеческого. Так она начиналась – в достатке, достоинстве, мудрости и чести. «Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Таков в

²⁶ Там же, 2: 10.

²⁷ Книга Судей Израилевых, 21: 25.

немногих словах ключ к подлинно счастливому сосуществованию людей. Эту безоблачную пору некогда знали евреи. И древние китайцы, и люди минойской эры, и индусы, и жители Полинезии, и обитатели Африки, и эскимосы.

Я начинал перечитывать Книгу Руфь – то место, где говорится о Ноемини и людях племени Моавитского. 20-й стих пробудил во мне странное чувство: «Она сказала им: не называйте меня Ноеминью, а называйте меня Марою; потому что Вседержитель послал мне великую горесть»²⁸. А 21-й и подавно вверг меня в транс: «Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками...»²⁹

Я позвал Мону, которая некогда была Марой, но не услышал ответа. Поискал ее, но не нашел... Снова уселся за стол, затуманенными от слез глазами глядя на ветхие, замусоленные страницы. И так, ни связующего моста, ни божественной благодати молитвенного гимна, ни даже ефы ячменя³⁰ не припасено для нас на этой грешной земле. *«Не называйте меня Ноеминью, а называйте меня Марою!»* И покинула Мара народ свой, и отреклась от самого имени, каким ее звали. Имя то было исполнено горечи, но смысл его был ей неведом. *«Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом»*³¹. Отторгла она лоно соплеменников своих, и Господь покарал ее.

Я встал и зашагал по комнате. Наше прибежище дышало простотой, изяществом, безмятежностью. Глубоко взволнованный, я, однако, не ощущал ни малейшей грусти. Я чувствовал себя кораблем, сбившимся с курса и прокладывающим путь в песчаных дюнах времени. Полностью раздвинул двери, отделяющие нашу квартиру от той, что пустовала в глубине дома. Зажег свечи в ее дальнем углу. В дымчатых витражах окон забрезжил загадочный свет. Перестав сопротивляться свободному парению мысли, я расхаживал в полумраке по всему этажу. Все-таки куда она подевалась? Но в глубине души я был спокоен: скоро Мара вернется и придет в себя. И чем черт не шутит, принесет с собой что-нибудь пожевать. Я опять был не прочь преломить корку хлеба и отхлебнуть глоток вина. Именно в таком настроении, размышлял я про себя, и нужно садиться писать: бодрым, открытым всем ветрам, легким, непринужденным. Я воочию убедился, как это просто – из мелкого служащего, подневольного поденщика, раба наемного труда превратиться в художника. Что за радость побыть одному, без остатка погрузившись в мир собственных мыслей и чувств. И в голову не приходило, что мне придется писать *о чем-то*: все, в чем я был уверен, – это что однажды, в таком же настроении сяду писать. Отныне самое главное – не потерять высоту, которую я наконец обрел, не перестать чувствовать все, что я сейчас чувствую, *писать ноты в воздухе*. Сидеть не шевелясь и писать ноты в воздухе; с детства это было моей заветной мечтой. Но чтобы писать ноты в воздухе – осознание этого пришло не сразу, – нужно сперва самому превратиться в тонкий, чувствительный музыкальный инструмент. Перестать суетиться и вдохнуть полной грудью. Сбросить все обременительные узы и оковы. Расторгнуть все связи с окружающим миром. Дабы обрести способность общаться с ним без свидетелей – нет, с одним лишь свидетелем – Господом Богом. Именно. Так и не иначе. Внезапно я обрел непоколебимую уверенность в истинности того, что мне безмолвно раскрылось – раскрылось в миг озарения... *«Ибо Господь Бог твой – ревнивый Бог...»*³²

Странно, подумал я, большинство знающих меня людей не сомневаются, что я – писатель, хотя, со своей стороны, я мало что сделал, чтобы укрепить их в этом мнении. Считать

²⁸ Книга Руфь, 1: 20.

²⁹ Там же, 1: 21.

³⁰ Аллюзия к Книге Руфь (2: 17): «Так подбирала она на поле до вечера, и вымолотила собранное, и вышло около ефы ячменя».

³¹ Книга Руфь, 1: 16.

³² Неточная цитата из Книги Исхода (20: 5): «Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня...»

меня таковым, надо думать, их побуждают не только странности моего поведения, но и моя неизбывная, неистребимая страсть к слову. Я и книга – эти понятия стали нераздельны с той самой минуты, как я выучился читать. Первый, кому я отважился читать вслух, был мой дед: он шил костюмы, а я присаживался на краешек скамьи, на которой он работал. Дед гордился мной, но что-то во мне его тревожило. Помню, он даже наказывал моей матери, что лучше убрать от меня подальше все книги... Прошло несколько лет, и моей внимательной аудиторией стали сверстники Джоуи и Тони, которых я навещал в деревне. Порой вокруг меня собиралось с десятков или больше маленьких слушателей. Я читал и читал, пока всех их не смаривал сон. Садясь на трамвай или в поезд подземки, я читал не прерываясь. И не переставал читать, выйдя на поверхность: вчитывался в лица, жесты, шаги идущих рядом, в фасады домов, лабиринты улиц, страстей, преступлений. Все, решительно все вокруг беря на заметку, классифицируя, сопоставляя, описывая впрок. Все это было материалом, каковому, обрастая прилагательными, наречиями, предлогами, скобками и тому подобным, надлежало составить корпус книги, которую я еще напишу. Еще до того, как я набросал ее план, в моей голове угнездились, тесня друг друга, сотни персонажей. Я сам был не чем иным, как движущейся, говорящей книгой, ходячей энциклопедией, неостановимо разрастающейся, подобно злокачественной опухоли. Я не переставал писать, набредая на друга, знакомого или просто прохожего. Завести с ним разговор, направить его в требуемое русло, пригвоздить мою жертву к месту немигающим взглядом и затем осыпать нескончаемым потоком словес было для меня делом нескольких секунд. С женщинами такая линия поведения оказывалась практически беспроектной; они вообще реагируют на слово несравненно лучше мужчин, не раз замечал я. Но всего вернее срабатывало это с иностранцами. У них мои слова немедленно вызвали живой отклик: во-первых, потому, что я старался говорить с ними просто и ясно, во-вторых, потому, что их инстинктивная внимательность и участливость побуждали меня выкладываться без остатка. С иностранцами я разговаривал так, будто был осведомлен об обычаях и нравах их родных краев; у них возникало ощущение, что эти обычаи и нравы я ставлю неизмеримо выше, нежели те, что отличают мое отечество; и нет необходимости добавлять, что чаще всего так и бывало. Говоря с иммигрантом, я всегда старался заронить в его душу стремление глубже освоить английский – не потому, что считал его лучшим языком под луной, но потому, что никто из тех, с кем мне доводилось общаться, не пользовался им так бережно и выразительно, как он того заслуживал.

Читая книгу и наталкиваясь на особенно сильное место, я захлопывал ее и шел прогуляться по улицам. Мне ненавистна была мысль, что хорошая книга кончится. Я растягивал процесс чтения как мог, стремясь отдалить неотвратимое. Но всегда, встречая действительно яркую, блестящую страницу или строку, делал паузу. Выходя из дому в дождь, в снег, в град, чтобы вновь стать самим собой. Ибо подчас так сильно проникаешься духом другого, что можно попросту лопнуть. Думаю, каждому знакомо это ощущение. «Дух другого», рискну заметить, не что иное, как ваше собственное *alter ego*. Суть дела не в том, чтобы распознать родственную душу; суть дела в том, чтобы распознать самого себя. Внезапно оказаться лицом к лицу с самим собой. Какой блаженный миг! Закрывая книгу, продолжаешь творить. И этот процесс – точнее сказать, этот ритуал – всегда один и тот же: усвоив его исходные правила, вступаешь в общение со всем миром на равных. Нет больше никаких препятствий, никаких опосредований. Одинокий, как никогда, ты в то же время теснее, чем когда-либо, связан со всем окружающим. *Полноправно воплощен в нем*. И тут тебе внезапно открывается, что Господь Бог, создав мир, отнюдь не ушел из него, дабы в отдалении, из некоего лимба, взирать на дело рук своих. Господь создал мир и остался в нем: в этом смысл творчества.

2

Короткие месяцы счастья, отпущенные нам в нашем японском любовном гнездышке, пронеслись как одно мгновение. Раз в неделю я навещал Мод и ребенка – отдать алименты, погулять по парку. Мона работала в театре и на свои заработки содержала мать и двух великовозрастных братьев. Примерно раз в десять дней я завтракал во франко-итальянском кафе-терии, как правило в одиночестве, потому что Мона была уже в театре. Изредка заглядывал к Ульрику поиграть в шахматы. Обычно наши встречи заканчивались диспутами о живописи: о тех или иных художниках, о манере их письма. Вечерами, повинаясь случайному капризу, я отправлялся бродить по незнакомым улочкам. В основном же сидел дома с книжкой или слушал музыку. Мона возвращалась к полуночи, мы наскоро ужинали, вели бесконечный треп и шли спать. Подниматься по утрам становилось все тяжелее. Прощание заканчивалось шутилой возней, которая обычно затягивалась надолго.

Кончилось тем, что в один прекрасный день – нет, три прекрасных дня кряду – я так и не появился на работе. Тем самым перечеркнув возможность возвращения в контору. Три бесподобных дня и ночи: делай что хочешь, ешь, спи сколько влезет, наслаждайся каждым мгновением, прислушиваясь к зову необъятных глубин и просторов таящейся в тебе энергии, радуясь полному отсутствию потребности отвоевывать для себя место под солнцем и, напротив, испытывая неодолимое желание быть самому себе хозяином, жить надеждой на завтрашний день, разделаться с прошлым... В общем, о том, чтобы вновь впрягаться в трудовую лямку, не могло быть и речи. Конечно, я понимал, что оказываю Клэнси медвежью услугу. По-хорошему я должен был бы загодя предупредить его, сказать, что мне обрыдла эта работа. Ведь шеф вечно выгораживал меня перед *своим* начальством – всемогущим мистером Твиллигером. Как бы то ни было, Спивак, постоянно висевший у меня на хвосте, добился бы своего. В последнее время он зачастил в Бруклин, торча как раз неподалеку от моего дома. Хватит. Пора завязывать.

На четвертый день я рано поднялся, как бы собираясь идти на службу. Меня распирало от желания поделиться с Моной своими намерениями, но я крепился до последней минуты, когда пора было выходить. От моей идеи она пришла в такой восторг, что начала упрашивать меня сразу же положить на стол заявление об уходе и вернуться домой к обеду. Я тоже считал, что чем быстрее разделаюсь со всем этим, тем лучше. Спивак без труда вмиг подыщет на мое место нового управляющего по кадрам.

Когда я появился в конторе, то обнаружил, что ко мне выстроилась непривычно длинная очередь посетителей. Хайми был у себя, его ухо будто намертво приклеилось к телефонной трубке, он, как всегда, что-то ожесточенно доказывал невидимому собеседнику, вися на коммутаторе. Похоже, объявилось такое количество новых свободных мест, что, будь у него хоть армия желающих, заполнить все вакансии казалось безнадежным делом. Я собрал со стола свои вещи, сложил их в портфель и поманил к себе Хайми:

– Послушай, я решил уйти. Будь другом, придумай, как преподнести это боссам.

Хайми посмотрел на меня так, словно я спятил. После секундного замешательства он с деланным безразличием напомнил, что *мне надо* получить расчет.

– Да черт с ним, – беспечно отозвался я.

– *Что?* – взвизгнул он, окончательно уверившись, что имеет дело с сумасшедшим.

– Видишь ли, поскольку я сматываюсь, никого не предупредив, у меня язык не повернется поднимать этот разговор. Жаль, конечно, что я посадил тебя в калошу. Но ведь, насколько я понимаю, ты тоже не собираешься тут задерживаться.

Обменявшись незначительными репликами, я оставил эти стены. Лишь на секунду задержавшись у окна, дабы в последний раз взглянуть на мельтешащую толпу томившихся кли-

ентов. Отныне меня это не касается. Отрезано. Хирургическим путем. Страшно подумать: неужто я угробил пять лет своей жизни на бессмысленное прозябание в этом бесчеловечном учреждении? Я начал понимать, что чувствует солдат, увольняющийся из армии.

Свободен! Свободен! Свободен!

Вместо того чтобы нырнуть в метро, я отправился на Бродвей, мне хотелось ощутить всей кожей, каково быть самому себе хозяином, когда все вокруг спешит на работу. Мне было от души жаль бедолаг, чей угрюмый вид и затравленный взгляд я знал так хорошо. Они торопливо шаркали по асфальту, заранее готовые выполнять чужие приказы, спозаранку предвкушая, что вот-вот будут всучать кому-то страховой полис, размещать чье-то объявление. Какая бессмыслица! Какая мышиная возня! Меня всегда возмущал ее идиотизм. Но сейчас во сто крат сильнее.

Видел бы меня сейчас Спивак! Вот бы он спросил, что это я тут болтаюсь!

Я слонялся по городу, наслаждаясь новообретенной свободой. Оставаясь в стороне и с извращенным удовольствием следя, как рабы наматывают положенные им круги. Впереди у меня вся жизнь. Через несколько месяцев мне стукнет тридцать три года, я сам себе господин. Я зарекаюсь работать на чужого дядю, плясать под чужую дудку. Это не для меня. Увольте. У меня есть талант, и его надо пестовать. Либо я стану писателем, либо сдохну от голода.

По дороге я зашел в музыкальный магазин и купил набор пластинок – квартет Бетховена, если мне не изменяет память. В Бруклине прихватил букет цветов и выклянчил у знакомого итальянца бутылку кьянти из его личных запасов. Пусть новая жизнь начнется с хорошего обеда и – музыки. Понадобится немало времени, чтобы стерлись без следа воспоминания о днях, месяцах, годах, бездарно потраченных на лихорадочное кружение в Космодемонической карусели. Вдосталь насладиться бездельем, ленивым течением дней и часов – вот оно, блаженство!

На дворе стоял восхитительный сентябрь. Разноцветные листья, кружась, падали на землю, в воздухе плыл дымный аромат. Было тепло и прохладно одновременно. Можно было даже пойти на берег и искупаться. Хотелось столько всего сделать сразу, что я готов был разорваться на тысячу маленьких Миллеров. Первым делом надо вновь начать играть. Значит, нужно пианино. А как насчет занятий живописью? В чехарде мыслей вдруг выкристаллизовался любимейший образ. Велосипед! Внезапно мне отчаянно захотелось услышать шуршание бешено крутящихся шин. Года два назад я продал свой кузену, который жил по соседству. Может, удастся выкупить? Это был не простой велосипед, мне подарил его один немец в конце шестидневной гонки. Скоростная модель, изготовленная в Хемнице, в Богемии. Боже, сколько времени пролетело с тех пор, как я последний раз колесил по Кони-Айленду. Осенние дни! Они словно специально созданы для таких поездок. Только бы мой бестолковый родственничек не сменил мое фирменное бруксовское седло: оно было отлично подогнано. (А цепи на педалях! Только бы он их не выбросил.) Ставишь ногу на педаль и... Меня захлестнула волна сладостных воспоминаний. Едешь по хрустящему гравию, над головой от Проспект-парка до самого Кони-Айленда тянется бесконечная арка деревьев, ты и велосипед – неразрывное целое, в ушах свистит ветер, в голове пленительная пустота, рассекаешь пространство, повинаясь внутреннему ритму. Картинки по сторонам сменяют друг друга, как листки календаря. Ни мыслей, ни переживаний! Только непрерывное движение, только ты и твой железный конь... Решено! Буду кататься каждое утро, это поможет встряхнуться. С ветерком до Кони-Айленда и обратно, затем душ, вкусный завтрак и за стол – за работу. Да нет, не за работу, за игру! Впереди ведь целая жизнь, только пиши себе и пиши. Прекрасно! Казалось, нужно только выдернуть пробку и все само собой выплеснется на бумагу. Уж если я мог строчить письма по двадцать – тридцать страниц без передышки, почему бы и книги не писать с той же легкостью. Все считали меня писателем: от меня требовалось только подтвердить это.

У самого входа краем глаза я заметил мелькнувшее внутри кимоно Моны. Окно с каменным карнизом было распахнуто настежь. Я вскочил на подоконник и оказался дома.

– Получилось! – воскликнул я, вручая Моне цветы, вино, пластинки. – Да здравствует новая жизнь! Не знаю, на *что* мы будем жить, но *жить* мы будем, даю слово! Как там моя пишущая машинка? А что на обед? Может, Ульрика позвать? Сегодня во мне столько сил, что мне нипочем огонь, вода и медные трубы. Вот сяду и буду на тебя смотреть. Не обращай на меня внимания. Хочу просто посидеть и почувствовать, как это – ничего не делать. – Я перевел дыхание, это дало Моне возможность слегка оправиться от моего натиска. Потом начал снова: – Признайся, ты ведь не верила, что я смогу? И не смог бы, если б не ты. Знаешь, это ведь совсем не трудно – каждый день ходить на работу. Сложнее – оставаться свободным. Теперь я все могу, я ничем не связан, цепи сброшены. Теперь я хочу *творить*. Целых пять лет я жил как замороженный.

Мона негромко рассмеялась.

– Творить? – откликнулась она. – Вэл, ты неисправим! Неумный ты мой! Нет, дружок, забудь пока о своем творчестве, сначала тебе надо хорошенько отдохнуть. И пожалуйста, не волнуйся о деньгах. Предоставь это мне. Если уж я могу прокормить своих дармоедов, то нас с тобой и подавно. По крайней мере, до поры до времени. Кстати, в «Паласе» сейчас прекрасная программа, – добавила она. – Выступает Рой Барнс³³. Ты его вроде любишь? И еще тот комик, который всегда выступает в бурлеске, – не могу вспомнить его имя. Ну как, идет?

Я сидел совершенно обалдевший, даже шляпу забыл снять. Все было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я чувствовал себя как царь Соломон. Даже лучше, ведь у меня не было никаких обязанностей. Двинуть в театр? Отлично! Что может быть лучше дневного спектакля? Попозже звякну Ульрику, чтобы приходил к нам обедать. С кем, как не с лучшим другом, отметить такое знаменательное событие? (Конечно, я предвидел его реакцию: «А может, было бы лучше?.. Ох, что это я?.. Тебе, конечно, виднее...» И так до бесконечности.) От Ульрика я готов выслушивать и больше. Его мнительность, нерешительность – все это нормально. Я был убежден, что перед уходом он скажет: «Сдаюсь». Конечно, это не значит, что он на самом деле признает себя побежденным, но он всегда подыгрывает мне, чтобы сделать приятное. Тем самым показывая, что уж коли он, Ульрик, величайший зануда на свете, порой испытывает такие соблазны, то его другу Генри Вэлу Миллеру сам бог велел поддаться им.

– Как ты думаешь, сможем мы выкупить мой велосипед? – вдруг выпалил я.

– Само собой, сможем, – не колеблясь ответила Мона.

– Тебе смешно? Знаешь, мне безумно хочется начать кататься. Последний раз я ездил на велосипеде еще до нашего знакомства.

И в этом Мона не видела ничего противоестественного.

– Ты еще совсем мальчишка, – рассмеялась она.

– Точно! Но лучше мальчишка, чем зомби, а?

Через несколько секунд я опять заговорил:

– Знаешь что? Тут у меня утром возникла еще одна мысль...

– Какая же?

– Пианино. Хочу снова играть.

– Здорово! Возьмем напрокат, недорого и в хорошем состоянии. Хочешь опять брать уроки?

– Да нет же. Хочу играть для себя, только и всего.

– Заодно, может, и *меня* научишь?

³³ Т. Рой Барнс (1880–1937) – англо-американский комедийный актер, снимался в фильмах с Бастером Киттоном.

– Запросто! Если ты и в самом деле захочешь учиться.

– Это никогда не помешает, особенно в театре.

– Нет ничего проще. Осталось только достать инструмент.

Я встал, разминая затекшие конечности, и вдруг страшно развеселился.

– А *ты*, чего ты хочешь от этой новой жизни?

– Ты знаешь, чего я хочу, – ответила она.

– Нет, не знаю. Итак?

Она подошла и обвила меня руками за шею.

– Я хочу, чтобы ты стал тем, кем хочешь стать, – писателем. Великим писателем.

– И это все, чего бы ты хотела?

– Да, Вэл, это все, поверь мне.

– А как же театр? Неужто ты не хочешь когда-нибудь стать великой актрисой?

– Нет, Вэл, я знаю, что никогда ею не стану. У меня нет ни тщеславия, ни честолюбия. Я пошла в театр, чтобы угодить тебе. Мне совершенно все равно, чем заниматься, – лишь бы ты был счастлив.

– М-да, с таким настроением хорошей актрисой не станешь, – огорчился я. – И вообще, ты должна думать о себе. Делать то, что *тебе* нравится, независимо от моих желаний. Я был уверен, что ты без ума от театра.

– Я без ума только от одного – от тебя.

– Вот теперь ты играешь.

– Если бы! Тогда все было бы намного проще.

Я потрепал ее по подбородку.

– Ну ладно, – медленно растягивая слова, произнес я, – теперь ты меня заполучила всего с потрохами. Посмотрим, как ты запоешь через месяц. Еще озвереешь оттого, что я постоянно болтаюсь под ногами. А то и раньше.

– Только не я. Я мечтала об этом с того дня, как встретила тебя. Видишь ли, я тебя ревную к тебе самому. Я хочу видеть каждое твое движение. – Она приблизилась ко мне вплотную и легонько шлепнула меня по лбу. – Порой мне хочется влезть в твои мозги и узнать, о чем ты думаешь. Иногда ты кажешься таким далеким. Особенно когда молчишь. А знаешь, к тому, что ты напишешь, я тоже буду ревновать, ведь в это время ты будешь думать не обо мне.

– Ну все, попался, – со смехом отозвался я. – Послушай, о чем мы говорим? Время идет, день кончается. Надо праздновать, а не пытаться заглядывать в будущее. Отметим событие... Где, спрашивается, обещанные гастрономические еврейские изыски? Пожалуй, схожу на угол, куплю черного хлеба, оливок, сыра, немного бастурмы, осетрины, если будет, – я ничего не забыл? У нас есть потрясающее вино – к нему нужна хорошая закуска. Ах да, и чего-нибудь сладкого к чаю. Как насчет яблочного пирога? Кстати, у тебя есть деньги? А то у меня ничего не осталось. Отлично. Пять долларов? Надеюсь, не последние? Завтра обо всем подумаем, ладно? Я хочу сказать, о деньгах.

Она прикрыла мне рот ладонью:

– Прошу тебя, Вэл, не надо об этом. Даже в шутку. Тебе не придется думать о деньгах *никогда*, ясно?

У американского анархиста Бенджамина Р. Такера есть любопытная книжка. Она называется «Вместо книги. Написано человеком, слишком занятым, чтобы писать книгу». Это заглавие как нельзя лучше подходит к ситуации, в которой я тогда оказался. Вырвавшись на волю, моя творческая энергия буквально разрывала меня на части. Вместо того чтобы писать книгу, первое, что я сделал, – это сочинил стихи в прозе о задворках Бруклина. Сама мысль о том, что я – писатель, настолько переполняла меня радостью, что почти лишала

возможности писать. Ощущая небывалый прилив сил, я изнурял себя постоянным предвкушением того, что вот-вот сяду работать. Я не мог ни минуты усидеть на месте: все внутри у меня пело и плясало. Хотелось одновременно и писать об этом мире, и жить в нем. Мне и в голову не приходило, что, регулярно работая по два-три часа в день, можно написать самую толстую книгу на свете. Я был уверен, что писать можно, лишь приклеившись к стулу, по восемь-десять часов кряду. И так – пока не рухнешь без сил. Именно так представлял я себе писательский труд. Тогда мне ничего не было известно о рабочем *расписании*, какое поведаль миру Сандрар в одной из своих книг. Два часа в сутки – предрассветных – посвящать письму, все остальное – самому себе. А какое богатство книг подарил миру Сандрар! Все *en marge*³⁴. Следуя тому же методу – по два-три часа ежедневно и так на протяжении всей жизни, – Реми де Гурмон, замечает Сандрар, продемонстрировал, что человек способен перечитать фактически все действительно заслуживающее внимания из созданного человечеством за века.

Увы! Я был страшно неорганизован, недисциплинирован, не умел поставить перед собой конкретную цель. Я пребывал в плену своих порывов, прихотей, желаний. Движимый стремлением во что бы то ни стало прожить жизнь писателя, я игнорировал огромные пласты материала, копившегося годами вплоть до сегодняшнего дня. Какая-то сила толкала меня писать о сиюминутном, о том, что происходит в данный момент за моим порогом. Я горел желанием поведать миру о *чем-то новом*, о чем прежде никто не писал. Иначе и быть не могло: слишком уж измочалено, истрепано, избито было все, что собиралось годами разочарований, сомнений, отчаяния к моменту, когда оно отложилось в моей голове, чтобы выплеснуться на бумагу. Добавим к этому, что я чувствовал себя как борец или боксер, готовящийся к решающему матчу. Мне требовалась разминка. Первые пробы пера, эти фантазии и фантазмы, эти стихи в прозе и разного рода эксперименты со словом были чем-то вроде настройки инструмента перед концертом. Я тешил свое тщеславие (а оно было непомерно!), разбрасывая хлопущки, взрывая плюющиеся петарды, устраивая словесные фейерверки. Приберегая самые красочные на праздничный вечер 4 Июля. Наступило утро – тягучее, ленивое утро бессрочных каникул. Я вытащил билет в рай. С открытой датой. Я мог делать все, что мне заблагорассудится, как угодно распоряжаться своим временем, царственно лениться, имея в запасе неограниченные часы свободы, пребывая частицей этого мира и его бессмысленного однообразия. Чтобы в свой срок, заняв уготованное мне место в раю, примкнуть к сонму ангелов, поющих нескончаемую оду радости.

Я и прежде смотрел на мир глазами писателя, сейчас я всматривался в него с удвоенной пристальностью. Ничто, даже самая малость, не могло ускользнуть от моего внимания. Выходя из дому – надо заметить, я вечно норовил улизнуть под любым предлогом, чтобы побродить по городу, так сказать, «обследовать местность», – я мечтал о том, чтобы превратиться в один огромный глаз. Во всеохватное око, которое видит в новом свете обычное, бытовое, повседневное. Наш привычный, будничныи мир, видевшийся мне сквозь призму нового зрения, не переставал изумлять меня. Если долго разглядывать стебелек травы, то в какой-то момент чувствуешь, как эта травинка разрастается, становясь внушающим трепет, таинственным, непостижимым миром в себе. Чтобы поймать эти бесценные промельки озарения, писатель, словно охотник, готов часами сидеть в засаде. Подобно хищнику, он набрасывается на эту ускользающую, почти несуществующую видимость. Этот миг пробуждения, единения, растворения не терпит торопливости и насилия. Нередко мы совершаем ошибку – я бы даже сказал, грех, – пытаюсь остановить его, безжалостно припиливая словами к листу бумаги. Мне потребовались десятилетия, чтобы понять, почему, приложив столько усилий, дабы вызвать эти мгновенья взлета и освобождения, я оказался бессилён выразить их. Мне

³⁴ На полях, вовне (*фр.*).

не приходило в голову, что такое мгновение – само по себе цель и причина, что пережить миг высочайшего осознания – значит испытать все и быть всем.

За какими миражами я только не гнался! Постоянно перегоняя самого себя. Чем чаще я сталкивался с реальностью, тем больше отбрасывало меня назад – в иллюзорный мир, имя которому – наша жизнь. «Опыта! Больше опыта!» – зывал я. Тщетно стремясь привнести в свои мысли хотя бы некое подобие порядка, составить хотя бы примерный распорядок действий, я долгими часами сидел за столом, вычерчивая в уме контуры еще не созданного произведения. Изящество и скрупулезность, с которыми архитекторы и инженеры справлялись со своими задачами, всегда восхищали меня, но, увы, никогда не удавались. Зато я ясно видел воплощение своих замыслов, так сказать, в космогонических масштабах. Я не умел выстроить фабулу, но ухитрялся расставить и уравновесить противоборствующие силы, характеры, события, мог разложить их по полочкам, причем не как попало, а в строгом порядке, всегда оставляя между ними свободное пространство, зная, что оно еще понадобится во множестве, неизменно памятуя о том, что во Вселенной нет ничего конечного, есть лишь миры внутри миров – и так *ad infinitum*³⁵, и что, выходя за пределы одного, тем самым создаешь другой – цельный, законченный, завершенный.

Как хорошо тренированный спортсмен, я ощущал уверенность и тревогу одновременно, испытывал смешанное чувство спокойствия и нервозности. Уверенный в конечном исходе, волновался, дергался, мельтешил, суетился. И в итоге, выпустив несколько пробных залпов, стал думать о своем писательстве, как думает о собственном ремесле стрелок оружейного расчета. Чтобы поразить цель, к ней надо пристреляться. Выстраивал в шеренги мозаичные обрывки своих мыслей. Если я хочу быть услышанным, то надо дать людям возможность меня услышать, рассуждал я. Значит, надо как-то заявить о себе – в газете, журнале, где угодно. Какова моя огневая мощь, какова дальность? Хотя я был не из тех, кто донимает друзей просьбами выслушивать свою писанину, однако порой в момент разнужданного прилива энтузиазма этот грех бывал не чужд и мне. Когда мне выпадал такой счастливый случай, то результат этих «публичных чтений» превосходил все мои ожидания. Оговорюсь: мало кого из моих друзей эти словесные упражнения приводили в неописуемый восторг. Но я убежден, что их красноречивое молчание стоит несравненно больше, нежели злобные нападки платных писак. То, что они не заходились смехом в нужный, как мне казалось, момент, сдержанное молчание, с которым дослушивали заключительную фразу, – все это значило для меня больше, чем лавина бесполезных слов. Порой я успокаивал уязвленное авторское самолюбие мыслью, что эти тугодумы просто не доросли до грандиозности моих рассуждений, закоснели в своей консервативности и вообще не семи пядей во лбу. Справедливости ради надо сказать, я редко опускался до подобных мыслей. С особым трепетом я относился к мнению Ульрика. Возможно, с моей стороны было нелепо придавать его отзывам такое значение: ведь наши литературные вкусы сильно различались; но он был самым близким из моих друзей, именно ему надо было доказывать, на что я способен. Между тем ублажить его, моего Ульрика, было нелегко. Больше всего ему нравились мои перлы, иными словами, непривычные слова, броские сравнения, причудливые словесные узоры, сетования на все на свете – и ни на что в частности. Нередко, прощаясь, он благодарил меня за то, что я обогатил его лексикон вереницей новых слов. Подчас мы проводили целые вечера, разыскивая их в словаре. И не находили – я их просто выдумал.

Однако вернусь к плану кампании... Поскольку я, по собственному глубокому убеждению, могу писать обо всем на свете, наиболее разумное – составить примерный перечень тем и разослать его по редакциям журналов, дабы они могли выбрать самое для себя под-

³⁵ До бесконечности (лат.).

ходящее. Полетят десятки и десятки писем. Длинных, зачастую бессодержательных. Придется завести картотеку, чтобы как-то сориентироваться в дурацких правилах и положениях, принятых в каждой отдельно взятой редакции. Начнутся споры и столкновения, бесплодная беготня по издательствам, крючкотворство, мне будут ставить палки в колеса, трепать нервы, появятся злость, ожесточение, скука. Да, совсем забыл про почтовые марки! В результате после всей круговерти однажды придет письмо от некоего редактора с уведомлением, что он готов снизойти до того, чтобы ознакомиться с моей статьей при условии... нет, при тысяче и одном условии. Не давая себя обескуражить бессчетными «если» и «но», я приму такого рода послание как *bona fide*³⁶ знак согласия. Отлично! Итак, мне предложено написать нечто, скажем, о зимнем Кони-Айленде. Если их удовлетворит то, что я напишу, то статью напечатают, подпишут моим именем, и я смогу показывать ее друзьям, таскать с собой, класть на ночь под подушку, читать и без конца перечитывать, ибо, впервые увидев себя в печати, можно положительно лопнуть от гордости. Ибо теперь мир знает, что ты писатель. Доказать это миру, хотя бы раз в жизни, необходимо. Поскольку пока об этом знаешь только ты сам, можно однажды сойти с катушек.

Итак, меня ждет заснеженный Кони-Айленд. Разумеется, пойду я туда один. Не хватало еще, чтобы мое раздумчивое созерцание нарушал надоедливый треп какого-нибудь пустозвона. Не забыть сунуть в карман блокнот и отточенный карандаш.

Добираться до Кони-Айленда в середине зимы – дело долгое и отчаянно скучное. Здесь бродят только больные, пошедшие на поправку, инвалиды да чокнутые. Мне вдруг показалось, что я и сам – один из последних. Чокнутый. Кому охота читать про Кони-Айленд, где все заколочено, забрано деревянными ставнями, застыло в ожидании будущего купального сезона? Наверное, у меня от возбуждения помутилось в голове; иначе как мне могло прийти в голову, что ничто так не вдохновляет, как вид тотального запустения?

Хотя слово «запустение» в данном случае не самое подходящее. Осторожно ступая по обледевшим доскам, выложенным специально для пляжных прогулок, дрожа под ледяными порывами колючего пронизывающего ветра, от которого не спасали ни толстые штаны, надетые специально для этого случая, ни застегнутые до самого подбородка пуговицы, я внезапно подумал: более трудного предмета литературного отображения при всем желании изобрести нельзя. Писать было не о чем, кроме разве что оглушительной тишины. Вот Ульрик – тот нашел бы здесь материал для работы. Для художника здесь было полное раздолье: безжизненно поникшие, словно готовые рухнуть, каркасы павильонов; непристойно проглядывающие сквозь выцветшую краску доски оконных переплетов и балки потолочных перекрытий; застывшее в мертвом трансе чертово колесо; тихо ржавеющие под неярким, обескровленным солнцем вагонетки «наклонной железной дороги»³⁷. Напомнив себе, что я здесь мерзну по делу, я черкнул в блокноте два слова о пляске смерти, мысль о которой навевали замерзшие в безумном беспорядке атрибуты веселых летних аттракционов, о разверстой в зевке пасти Джорджа К. Тилью³⁸ и тому подобном...

Горячий франкфуртер и чашка обжигающего кофе сейчас были бы как нельзя кстати, думаю я про себя. В стороне от главной аллеи обнаруживаю маленький ларек, который работает, а еще чуть подальше – тир. Ни единого посетителя. Хозяин лениво постреливает по глиняным голубям, видимо, чтоб не потерять сноровку. Мимо меня нетвердой походкой проходит пьяненький матрос. Еще через пару шагов у него подкашиваются колени, и он падает.

³⁶ Добросовестный, недвусмысленный (лат.).

³⁷ Так назывались первые «американские горки», открытые на Кони-Айленде.

³⁸ Джордж Корнелиус Тилью, предприниматель, основатель (в 1897 г.) и владелец парка аттракционов «Стиплчез». Торговая марка Джорджа Тилью – ухмыляющаяся зубастая физиономия, которую можно было увидеть на многих улицах Кони-Айленда.

(О чем тут писать?) Я спускаюсь к воде и долго слежу за морскими чайками. Слежу за чайками и думаю о России. Вспоминаю картину, на которой художник изобразил Толстого сидящим на лавочке и тачающим какой-то башмак. Как бишь называлось его имение? Яснаполяна? Нет, Ясная Поляна... Какого черта я тут торчу? Встряхнись и двигай отсюда, Генри! Поежившись, иду навстречу ледяному ветру. У берега покачиваются на волнах стволы деревьев. На земле – мусор всех возможных и невозможных видов. (Сколько написано о найденных в море бутылках с посланиями!) Жалко, что не взял с собой Макгрегора. Его дурашливая манера вести нарочито серьезные рассуждения сейчас бы мне очень пригодилась. Представляю, как бы он веселился, увидев меня слоняющимся по берегу в поисках материала для статьи.

«Трудишься, значит? – слышу его кудахтающий смешок. – Самое подходящее место! Брось! Кто читать-то будет? Признайся, тебе просто захотелось проветриться. Главное – найти предлог. Бог мой, Генри, ты ничуть не изменился, как был психом, так и остался!»

Подходя к железнодорожной станции, констатирую, что все мои наблюдения уместились в трех строчках. Ни малейшего проблеска мысли о том, что напишу, сев за машинку. В голове ветер. Ледяной ветер. Бессмысленно пялюсь в окно. Пейзаж напоминает обледеневший лист чистой бумаги. Замороженный мир стынет в ледяных оковах. Немой и беспомощный. Никогда еще не было такого холодного, мрачного, унылого, тусклого дня.

В ту ночь я ложился спать в состоянии какого-то странного смирения. Не в последнюю очередь потому, что перед сном раскрыл томик Томаса Манна (там была его повесть о Тонио Крёгере) и был буквально раздавлен его безупречной манерой письма. К своему удивлению, утром я проснулся свеженьким как огурчик. Я пренебрег утренней прогулкой и сразу после завтрака уселся за машинку. К полудню очерк о Кони-Айленде был готов. Легко! Как мне это удалось? Просто вместо того, чтобы вымучивать его, я заснул – и мое «я» капитулировало, *certes*³⁹. Иными словами, преподал себе урок тщетности борьбы с самим собой. Сделайте то, что от вас зависит, а остальное предоставьте судьбе. Не ахти какое великое, но приятное открытие.

Излишне говорить, что статью нигде не приняли. Точнее сказать, нигде не приняли ничего. Она долго гуляла по редакциям, переходя из рук в руки. Позднее к ней присоединились десятки других. Я регулярно носил их на почту, они разлетались как почтовые голуби и неизменно возвращались со стандартным корректным отказом. И все-таки я, как говорится, держал хвост пистолетом, упорно придерживаясь разработанного плана. Написанный на огромном листе оберточной бумаги, он висел приколотый к стене. На другом листе я вел своеобразный словарь, куда заносил редко встречающиеся слова. Суть состояла в том, чтобы вплести их в тексты моих трудов, но так, чтобы они не торчали из них безобразными флюсами. Время от времени я пробовал их на вкус, вставляя в письма друзьям, которых у меня водилось великое множество. Сочинять письма для меня то же, что для боксера – бой с тенью. Он изматывает, не оставляя сил для встречи с реальным противником. За пару часов я мог написать статью, рассказ, что угодно, а потом по шесть-семь часов кряду комментировать их в письмах к друзьям. Стоило только начать. И быть может, это было ко благу, ибо в письмах мне без труда удавалось сохранить спонтанность моего естественного голоса. В молодые годы я стеснялся его, не доверяя самому себе. Я был насквозь проникнут литературщиной. По крохам побирался у других, не отваживаясь пуститься в самостоятельное плавание. Я путал технику с творчеством. Опыт и техника – два кита, на которых зиждилось мое представление о писательстве. Чтобы в полной мере овладеть накопленным опытом, одной жизни мало. Надо как минимум сто. А чтобы вполне – или до конца – освоить технику письма, мне, вероятно, понадобится сто лет, не меньше.

³⁹ Разумеется (*фр.*).

Иные из более искренних моих друзей нередко ставили мне в упрек, что в общении с ними я был самым собой, а в моих сочинениях – не вполне. «Почему ты не пишешь так, как рассказываешь?» – удивлялись они. Поначалу эта мысль показалась мне абсурдной. Во-первых, в отличие от своих слушателей, я не считал себя талантливым рассказчиком, что бы на этот счет ни думали они сами. Во-вторых, слово написанное всегда казалось мне более емким, нежели произнесенное. В разговоре не успеваешь отшлифовать фразу, не можешь подобрать точное слово, не можешь вернуться и вычеркнуть лишнее – выражение, фразу, абзац. Когда мне говорили, что моя спонтанная речь лучше осмысленной, я, как никто радевший за величие слова, воспринимал подобные упреки как личное оскорбление. Порочная по своей природе, эта мысль, однако, дала неплохие плоды. Вдоволь позабавившись, истощив запас выдумок и окончательно заморочив всем голову, я незаметно ускользал домой и в тишине тщательно разбирал свои выступления. Слова текли в безупречном порядке, попадая точно в цель, достигая нужного эффекта; налицо были не только плавность, форма, кульминация, развязка, но и ритм, глубина и звучность, аура магического действия. Случайно запнувшись или взяв неверный тон, я мог вернуться, чтобы убрать неверное слово, вычеркнуть неточную фразу, оттенить смысл интонацией, повтором, паузой, понижением голоса, намеком. Слова – они как шарики для фокусника, живые, послушные, взаимозаменяемые, с ними что хочешь, то и делай. Говорить – все равно что писать на невидимой доске. Слово слышно, но не видно. Оно не может исчезнуть, ибо на самом деле никогда не существовало. Когда в них вслушиваешься, обостряется восприятие, появляется чувство сопричастности, словно наблюдаешь, как лихо управляется жонглер со своими шариками. Слуховая память ничуть не менее надежна, нежели зрительная. Не обладая даром воспроизвести, даже три минуты спустя, чей-нибудь длинный монолог, моментально улавливаешь фальшь.

Читая о том, как проходили вечера у Малларме, у Джойса, у Макса Жакоба, я невольно сравнивал их с нашими. Замечу, что никто из моих тогдашних приятелей не помышлял о славе на поприще искусства. Одно дело – поболтать на околохудожественные темы, другое – самим создавать произведения искусства. Большинство моих друзей были инженерами, архитекторами, врачами, химиками, преподавателями, юристами. Но их лица светились одухотворенностью, они были интеллектуальны, энергичны и поразительно искренни в своей приверженности искусству. И порой мне кажется, что звучание наших споров и обсуждений не слишком многим уступало той камерной музыке, что лилась под сводами гостиных этих прославленных мастеров.

В наших неофициальных сборищах не было и тени помпезности и чопорности. Каждый говорил как хотел. Мы говорили обо всем подряд, несли что в голову взбредет, не слишком выбирая выражения, открыто вынося свои суждения и оценки, не стремясь кому-то угодить.

Среди нас не было мэтров, мы все были равны, мы могли позволить себе впасть в патетику или ляпнуть глупость. Нас связывал голод по тому, чего мы были лишены. У нас не было непреодолимого желания изменить мир. Мы хотели расширить свои горизонты, только и всего. В Европе такие собрания, как правило, носят политический, культурный или эстетический характер. Там каждый высказывает свои идеи в надежде, что они рано или поздно дадут всходы в сознании масс. *Нас* же, напротив, массы ничуть не заботили, ибо нам и в голову не приходило противопоставлять им себя. Мы говорили о музыке, живописи, литературе потому, что человек, если он сколь-нибудь интеллигентен и восприимчив, так или иначе оказывается на пороге храма искусства. Мы могли до хрипоты спорить о высоких материях, яростно отстаивая собственную точку зрения, но происходило это не преднамеренно, а как бы само собой, естественным образом вытекая из нашего общения.

Пожалуй, я был единственным в нашей компании, кто относился серьезно к самому себе. Вот почему временами я вел себя как несносный придира и зануда. Дело в том, что в

глубине души я *мечтал* исправить мир. Во мне *было* что-то от агитатора. Собственно, только это и отличало меня от прочих, придавая нашим вечерам характер лихой и бесшабашный. Во всем, что я говорил, была искра заинтересованности, искра правды. Это не было позой. Я пытался растормошить их, встряхнуть – иногда с излишней настойчивостью, – за что на меня обрушивались водопады упреков. Не помню, чтобы кто-нибудь из моих друзей хоть раз до конца согласился со мной. О чем бы ни велась речь, в какие бы формы я ни облакал свои мысли, мои выводы неизменно расценивались как парадоксальные или преувеличенные.

Случалось, они признавались, что им просто нравится слушать меня.

– Ну да, – возражал я в ответ, – если бы только вы прислушивались к тому, что я говорю.

Они только ухмылялись:

– Хочешь насладиться беспрекословным повиновением? – И хихикали.

– Черт возьми, я вовсе не жду, чтобы вы *всегда* соглашались... Я только хочу, чтобы вы задумались... Задумались о самих себе. («Ну-ну...») Вот, послушайте! Вы только послушайте! – открывал я рот, чтобы произнести очередную тираду.

– Давай-давай, – поддразнивали меня. – Поучи нас, дураков, уму-разуму.

Тут я, насупившись, садился и надолго замолкал, к общему неудовольствию.

– Да ладно тебе, Генри, не бери в голову. Лучше выпей, сразу полегчает. Ну выкладывай, что там у тебя?

Результат я знал заранее, но каждый раз наивно надеялся, что, приложив еще немного усилий, смогу поколебать их несокрушимое упрямство. Я был отходчив, легко забывал обиды и с новой силой атаковал их своими идеями. Чем отчаянней я пытался достучаться до них, тем больше они потешались. Понимая, что игра в очередной раз проиграна, я надевал маску шута и начинал фиглярничать. Нес все, что в голову придет, чем нелепее, тем лучше. Не скупился на откровенные оскорбления в адрес присутствующих, но никто не обижался. Казалось, я борюсь с призраками. Вечная борьба с тенями.

(Сомневаюсь, что нечто подобное могло происходить на рю де Ром или рю Равиньян.)

Воплощая в жизнь план кампании, я озаботил себя тысячей дел – куда там самому расторопному служащему процветающей промышленной корпорации. Некоторые из статей, которые я намеревался написать, требовали кропотливого подхода. Впрочем, меня это никогда не пугало. Я любил ходить в библиотеки, заставляя служителей выискивать для меня книги, которые никто никогда не заказывал. Бог знает сколько времени я провел в библиотеке, что на Сорок второй улице, устроившись за длинным столом в общем читальном зале, один среди тысяч. Эти столы вызывали у меня особый душевный трепет. Я с детства мечтал иметь дома огромный стол – чтоб на нем можно было и спать, и танцевать, и на коньках показаться. (Я знал одного писателя, у которого был такой стол. Он стоял посреди совершенно пустой комнаты – идеальное рабочее место! Фамилия писателя была Андреев; понятно, что я боготворил его.)

Мне нравилось сидеть среди прилежных читателей в гулком зале размерами с кафедральный собор, под величавым сводом, наводившим на мысли об Эдеме. На улицу я выходил слегка ошалев, с каким-то смятенно-благоговейным чувством. Вливаясь в толпу на Пятой авеню или Сорок второй улице, я долго не мог прийти в себя: слишком уж в разных измерениях жили эти шумные улицы, по которым из стороны в сторону сновали прохожие, и замкнутое в себе упорядоченное книжное царство. Дожидаясь, пока из чрева хранилища мне принесут книги, я бродил по залам, просачивался между массивными шкафами, упиваясь загадочными заглавиями справочников и энциклопедий. Одно лишь прикосновение к корешкам переплетов надолго заряжало меня энергией. Я часто задумывался, есть ли на свете вопрос, на который в этих просторных стенах, осеняемых духом гениев, нельзя было бы ответить. Мне казалось, нет ничего под солнцем, что, будучи занесено на бумагу, не нашло

бы пути в эту обитель мудрости. Я всерьез разрывался между неутолимой жаждой познания и страхом окончательно превратиться в книжного червя.

Нередко навещался я и в Лонг-Айленд-Сити, в эту богом забытую дыру, чтобы своими глазами посмотреть, как изготавливают жевательную резинку. Вокруг, как в замедленной съемке, царило чистейшее безумие; здесь его именовали производительностью. В цехе, где нечем было дышать от приторно-сладкого удушающего запаха сахарной пудры, забивающей легкие, трудились сотни дебильного вида девушек с остановившимся взглядом. Они, как пчелки, упаковывали пластинки в обертки, и ни одной машине не угнаться было за их тонкими проворными пальцами. Я обошел всю фабрику, ее необъятность действовала устрашающе, она подавляла, мои провожатые вели меня через какие-то отсеки, за каждым новым поворотом разверзался очередной круг ада. Случайно задав какой-то вопрос о *чикле*⁴⁰, который является основой жвачки, я, сам того не подозревая, вступил в новую, интересную фазу своих поисков. Чиклерос (так называли тех, кто денно и нощно вкалывал в юкатанских джунглях) – это совершенно особая порода людей. Я не вылезал из библиотеки, изучая их обычаи и нравы. Вскоре они настолько заинтересовали меня, что я почти забыл про саму жевательную резинку.

А следом на ними неведомая сила утянула меня в увлекательный мир индейцев майя, оттуда – к завораживающим преданиям об Атлантиде и затерянной земле Му, о каналах, избороздивших Южную Америку от одного края до другого, о городах, взмывших в воздух, когда зашевелились Анды, о морском пути между островом Пасхи и западным побережьем Южной Америки, о сродстве америндской и ближневосточной культур, о тайнах алфавита ацтеков, пока наконец мой долгий, извилистый и тернистый путь не привел меня в сердце Полинезийского архипелага, где я открыл для себя Поля Гогена и помчался домой, унося под мышкой «Ноа Ноа». Его письма и историю его жизни я проглотил не отрываясь. До жизни и писем Винсента Ван Гога оставался лишь шаг.

Спору нет, знать классиков необходимо; но, быть может, еще важнее знать в деталях литературу своего времени, которая сама по себе неисчерпаема. Что касается писателя, для него важнее того и другого читать все, что вообще попадает под руку. Читать, читать и читать. Все подряд. Повсюду совать свой нос. В подернутых плесенью толстых фолиантах, хранящихся на полках каждой большой библиотеки, погребены горы сведений, собранных сгинувшими в неизвестности авторами, изучавшими неисчислимое множество тем и предметов. Эти предметы и темы порой малоинтересны и незначительны; однако статьи о них насыщены таким количеством мыслей, идей, дат, фактов, фантазий, чудачеств, чудес и пророчеств, что действуют сильнее экзотических наркотиков. Самые волнующие приключения нередко начинались для меня с поисков определения незнакомых слов. Коротенькое словцо, мимо которого рядовой читатель пройдет, не заметив, для писателя может стать настоящей золотой жилой. От словарей я кидался к энциклопедиям, указателям, громоздя вокруг себя высоченные груды всевозможной справочной литературы. Соорудив такую книжную цитадель, я закатывал там настоящий пир духа. Рылся в старых книгах, раскапывал какие-то факты, мусолил страницы, шарил, выискивал... Я изводил горы бумаги, делая какие-то записи, пометки, переписывая многостраничные цитаты. А иногда просто выдирали из книг нужные страницы.

В промежутках я совершал набеги на музеи. Служители, с которыми мне доводилось иметь дело, свято верили, что я пишу книгу, которая внесет важный вклад в науку. Я напускал на себя такой вид, что окружающие считали, что мне известно гораздо больше, чем я могу открыть. Я уклончиво отзывался о книгах, которых в глаза не видел, тонко намекал на дружбу со знаменитостями, о которых слышал лишь краем уха. Без тени смущения я

⁴⁰ *Чикл* – натуральный каучук.

мог сообщить, что являюсь обладателем ученых степеней, о которых мог вычитать в какой-нибудь книжке. Послушать меня, так чуть ли не все известные деятели в области антропологии, социологии, физики и астрономии ходили у меня в приятели. Когда меня начинало заносить, я бормотал нечто невнятное, делая вид, будто направляюсь в туалет, и срочно ретировался в сторону выхода. Заинтересовавшись генеалогией, я подумал, что было бы неплохо некоторое время поработать в соответствующем отделе публичной библиотеки. По счастью, оказалось, что, когда я позвонил, им позарез требовался человек как раз на такое место. О подобном везении я и мечтать не мог. Они готовы были тотчас принять меня. Заявление о приеме на работу, которое я заполнил в кабинете директора, было вымыслено мною с начала до конца. Пока бедняга распространялся об особенностях профессиональных технологий, я гадал, сколько им потребуется времени, чтобы меня раскусить. Директор лез из кожи вон, вводя меня в курс дела и посвящая в тонкости будущей работы, лазил по углам, извлекая необходимые бумаги, документы, папки и прочую дребедень, потом созвал всех сотрудников, чтобы меня представить (секретарша тем временем сновала из приемной в кабинет и обратно, передавая поступившие сообщения, – ни дать ни взять шекспировская пьеса). Мне довольно быстро наскучила его трескучая болтовня, я вспомнил, что Мона ждет меня к завтраку, и, прервав пространные объяснения директора, спросил, где находится туалет. Директор запнулся и с недоумением уставился на меня, как бы намекая, что приличия ради можно было бы и потерпеть. Но из моих красноречивых жестов и умоляющего взгляда явствовало, что конфуз случился неожиданно и если он тотчас же не укажет мне нужное направление, то все произойдет прямо у него на глазах (на полу или в лучшем случае в корзине для бумаг). Когда мне наконец удалось вырваться из его мертвой хватки, я схватил пальто и шляпу, по счастью брошенные на стуле прямо у дверей, и опрометью устремился наружу...

Мною владели две непреодолимые силы: тяга к знаниям, мастерству, техническому совершенству, неисчерпаемому опыту и страсть к порядку, красоте, стройности, наслаждению, саморастворению. Я сравнивал себя с Ван Гогом, мечтавшим жить бесхитростной жизнью, в которой нет места ничему, кроме искусства. О его безграничной преданности искусству свидетельствуют письма из Арля. Много позже мне посчастливилось побывать там, хотя, читая эти письма, я даже не надеялся на это. Ван Гог считал, что в жизнь надо привнести больше музыки. Он не уставал восхищаться суровой красотой и достоинством, какими была отмечена жизнь японских мастеров кисти, их свободной от всяческих излишеств естественностью, строгостью, простотой. Именно эти свойства японского быта: неприхотливую, обнаженную красоту, неподдельную элегантность, вселяющую спокойствие и уверенность, – я особенно ценю в нашем уютном любовном гнездышке. Японцы нравились мне больше, нежели китайцы. В свое время, узнав о впечатлениях Уистлера, я буквально влюбился в его офорты, потерял от них голову. Перечитал все, что Лафкадио Хирн писал о Японии, особенно о японских сказках, и по сей день нравящихся мне больше, чем любые другие. Стены нашего дома, даже в ванной, были увешаны репродукциями японских рисунков. Они и теперь лежат на моем столе под стеклом. Я до сих пор не знаю, в чем заключается суть учения дзен, но обожаю совершенное, на мой взгляд, искусство самозащиты джиу-джитсу. Меня приводят в восторг миниатюрные сады японцев, их мосты, бумажные фонари, храмы, изумительные пейзажи. Прочитав «Мадам Хризантему» Лоти, я ощутил себя самым настоящим японцем. С Лоти я проследовал из Японии в Турцию, а оттуда в Иерусалим. Его заметки о Иерусалиме настолько потрясли меня, что я уговорил редактора еврейского журнала заказать мне статью о храме Соломона. При помощи разных ухищрений мне удалось раздобыть макет храма, на котором были отображены все изменения, которые он претерпел за свое существование вплоть до разрушения. Закончив статью, я показал ее своему отцу. Помню его искреннее восхищение глубиной моих исследований... Моему усердию мог позавидовать самый заядлый книжный червь!

Обуянный жаждой новых и новых знаний и любопытством, я буквально рвался на части. Я одновременно увлекался индийской музыкой (подружившись с композитором-индусом в ресторане), русским балетом, немецким экспрессионизмом, сочинениями Скрябина для фортепиано, искусством душевнобольных (спасибо Принцхорну!), китайскими шахматами, боксом, рестлингом, хоккеем, средневековой архитектурой, катакомбными мистериями Египта и Греции, наскальными рисунками кроманьонцев, торговыми гильдиями былых времен, всем, что было связано с новой Россией, и т. д. и т. п. Я легко перепархивал с одного на другое, углубляясь и вновь выныривая на поверхность. Но не так ли искали пищу для своих бессмертных творений художники Возрождения? Разве не так же пытались они вникнуть в тайны и загадки жизни, тычась подряд во все ее тупики и закоулки? Разве не мучила их жажда новых знаний, не снедало любопытство приоткрыть как можно больше тайн, окружающих нашу жизнь? Разве не были они путешественниками, шлюхами, преступниками, искателями приключений, учеными, исследователями, поэтами, живописцами, музыкантами, скульпторами, архитекторами, фанатиками и посвященными всех мастей? Конечно, я читал и Челлини, и «Жизнеописание» Вазари, и историю папства и инквизиции, и хроники семьи Медичи, и итальянские, немецкие, английские инцестуальные драмы, и работы Джона Эддингтона Саймондса, Якоба Буркхардта, Функ-Брентано; короче, я прочитал все, что было написано об эпохе Возрождения, кроме, пожалуй, одного – замечательной книжицы Бальзака «О Екатерине Медичи», которой мне так и не удалось найти. Улучив минутку тишины и покоя, я вновь и вновь перелистывал Уолтера Патера, писавшего о Ренессансе. Зачитывал Ульрику целые куски из этой книги, приглашая его вместе со мной восхититься тонкой, непередаваемой чувственностью патеровского языка. Как славно мы проводили время! Стоило мне умолкнуть, как вступал Ульрик со своими пространными хвалебными одами любимым живописцам. От одних только имен их сладко замирало сердце: Таддео Гадди, Синьорелли, Фра Липпо Липпи, Пьеро делла Франческа, Мантенья, Уччелло, Чимабуэ, Пиранези, Фра Анджелико, – всех не перечислишь. А каким обаянием лучились названия городов: Равенна, Мантуя, Сиена, Пиза, Болонья, Тьеполо, Флоренция, Милан, Турин. Как-то раз мы с Ульриком решили продолжить нашу увлекательную беседу об Италии в кафе, где готовили блюда французской и итальянской кухни. К нам присоединились Хайми и Стив Ромеро. Забывшись, мы пришли в такое возбуждение, что двое итальянцев, мирно беседовавших за соседним столиком, умолкли, разинув рты от изумления, и стали прислушиваться к нашему словесному фейерверку. Мы, как фокусники, жонглировали именами и названиями городов. Хайми и Ромеро тоже зачарованно упивались звуками нашей речи, чуждой им почти в той же степени, что и итальянцам. Они сидели не открывая рта, не забывая, однако, следить за тем, чтобы рюмки не опустевали. Слегка охрипнув от собственных эмоций, мы попросили принести счет и уже собирались встать из-за стола, как раздались аплодисменты.

– Браво! Браво! Прекрасно! – Это итальянцы решили таким образом выразить свое восхищение.

Такого поворота событий мы не ожидали. Становилось очевидно, что дальнейших возлияний не избежать. К нам подсели Джо и Луи. Предложили выпить отборного ликера. Мы затаили песню. Толстяк Луи, растрогавшись, прослезился. Он умолял нас посидеть еще немножко, соблазняя восхитительным омлетом с икрой. В самом разгаре на пороге возникла фигура сенегальца Баттлинга Сики⁴¹. Личность незаурядная и таинственная, он тоже был завсегдатаем этого заведения. Он обладал могучим телосложением и бездной азарта. Мы с восхищением следили, как он вытворял разные фокусы со спичками, картами, блюдами, тростью, салфетками. Душа общества и невероятный брызга одновременно, сейчас он был

⁴¹ *Баттлинг Сики* (Луи Фаль, 1897–1925) – французский боксер, уроженец Сенегала.

явно не в духе. Что-то раздражало его. От хозяев требовалась немыслимая сноровка, дабы удержать его, а заодно и сам бар от непоправимых разрушений. Они щедро подливали ему вина, ласково трепали за плечо, льстили напропалую. Он пел, танцевал, сам себе аплодировал, залихватски хлопал себя по ляжкам, дружески шлепнул нас по спине, отчего у нас едва не затрещал и не рассыпался позвоночник. Исчез он так же неожиданно, как и появился, прихватив с собой пару ящиков пива. После его ухода все облегченно вздохнули. Омлет с икрой подоспел как нельзя кстати. Нам принесли филе сига, вымоченного в золотистом белом вине, дивный кофе и еще какой-то необыкновенный ликер. Луи ликовал.

– Попробуйте еще, – приговаривал он. – Для вас только самое лучшее, мистер Миллер. Ему вторил Джо:

– Когда вы собираетесь в Европу? Здесь вы надолго не задержитесь, помяните мое слово. О, Фьезоле! Клянусь Богом, однажды и я вернусь домой!

Домой я прибыл на такси, нализавшись до чертиков. Подобно пациенту под наркозом, я завывал что-то нечленораздельное. Лестница оказалась для меня совершенно непреодолимой преградой, и я плюхнулся на нижнюю ступеньку. Некоторое время я хохотал как помешанный, икая и бормоча какой-то бред, адресованный моим невольным собеседникам: птицам, бездомным котам, телеграфным столбам. Наконец я возобновил мучительное восхождение по лестнице. Я то и дело спотыкался, меня, словно в качку, мотало из стороны в сторону. Приходилось начинать все сначала. Тогда-то я оценил всю тщетность сизифова труда. Моны дома еще не было. Я в чем был рухнул на кровать и вырубился. Проснулся перед самым рассветом, почувствовав, что меня куда-то тащат. Хмель еще не успел выветриться, но все-таки я сообразил, что лежу в луже блевотины. Боже, какая гадость! Какая вонь! Постель пришлось перестилать, пол отмывать, одежду менять. На подкашивающихся ногах я поплелся в ванную. Происходящее почему-то необычайно рассмешило меня, зрелище я, видимо, представлял преотвратнейшее, но мне было жутко весело, вяло возмущающаяся совесть прекрасно уживалась с неудержимым весельем. Устоять вертикально под душем оказалось почти непосильной задачей и потребовало от меня значительно больших усилий, чем я способен был приложить. Мона, однако, превзошла все мои представления об ангелах-хранителях. Ни слова упрека. Перед тем как снова уснуть, я мысленно порадовался, что наутро не нужно вскакивать и бежать на работу. Я ни о чем не сожалел. Я не испытывал чувства вины. Я был избавлен от необходимости с кем-то объясняться. Я – свободен как птица! Наконец-то я выплусь. Утром Мона накормит меня вкусным горячим завтраком, после которого можно будет опять забраться в постель и провести там весь день. Последнее видение, промелькнувшее в моей голове, – это толстяк Луи, стоящий возле горячей печки, его глаза мокры от слез, сердце стекает на омлет. Капри, Сорренто, Амальфи, Фьезоле, Пестум, Таормина... Фуникули, фуникуля... И Гирландайо... И Кампо-Санто... Какая страна! Какие люди! Клянусь богом, однажды я поеду туда. Что мне помешает? Да здравствует Папа! (Но будь я проклят, если соглашусь поцеловать его в зад!)

Несколько иначе стали проходить выходные дни. Я по-прежнему заезжал к Мод, и мы втроем с ребенком отправлялись в парк, катались на карусели, запускали змея, иногда брали лодку. Репертуар Мод не менялся: сплетни, скука, взаимные укоры. Мне показалось, что она несколько раздалась вширь. Добытые с трудом деньги расползались на пустяки. В доме все было заставлено безвкусными безделушками. Оседлав любимого конька, Мод опять завелась: ребенка, мол, надо отдавать в частную школу. Обычная, видите ли, нашей принцессе не подходит. А там преподают игру на фортепиано, танцы, рисование. Потом, без всякого перехода, она сообщила мне о ценах на масло, индейку, сардины, абрикосы. О варикозном расширении вен у Мелани. Я машинально отметил исчезновение попугая. И крошечного пуделя больше не было, и собачьих бисквитов, и фонографа Эдисона. Зато все заставлено мебелью и коробками из-под конфет, разбросанными повсюду, даже в туалете. В воздухе

начинали звучать угрожающие аккорды военного марша. В дверях происходили душераздирающие сцены. Плачущий ребенок цеплялся за меня, умоляя остаться и спать с мамой. Однажды мы сидели в парке, наблюдая с холма за полетом только что купленного воздушного змея. Мод бродила неподалеку. Тут ребенок неожиданно прижался ко мне, обхватил ручонками за шею, начал нежно целовать, лепеча:

– Папочка, папочка...

Слезы предательски навернулись мне на глаза и хлынули неудержимым потоком, в котором впору было захлебнуться табуну лошадей. Держа девочку на руках, я, пошатываясь, поднялся и стал оглядываться в поисках Мод. Прохожие, испуганно оборачиваясь, торопливо проходили мимо. Вот беда-то! Вот беда! Она казалась тем отчетливей, что вокруг все дышало красотой, порядком, гармонией. Другие дети играли со своими родителями. Они были жизнерадостны, искрились весельем. Мы одни выглядели жалкими, разобщенными, чужими. Дочь росла, она уже многое понимала, я чувствовал ее молчаливые упреки. Жить так – преступление. При ином раскладе мы могли бы быть все вместе: Мона, Мод, ребенок, Мелани, собаки, кошки, зонты... Так думалось мне в минуты беспросветного отчаяния. Я готов был вынести что угодно, только не эти выходные в бывшем семейном кругу. Мучились все: и Мона, и Мод. Деньги на алименты доставались все тяжелей, а поскольку бремя их добычи тащила на себе Мона, я постоянно терзался чувством вины. Какая радость быть писателем, если приходится приносить такие жертвы? Как можно испытывать райское блаженство с Моной, когда твой ребенок страдает? По ночам я ощущал на своей шее детские ручонки, отчаянно тянущие меня за собой. Я часто плакал во сне, просыпаясь с мокрым от слез лицом, заново переживая эти душераздирающие сцены.

– Ты плакал этой ночью, – скажет Мона.

Я делано удивлюсь:

– Неужели? Не помню. – Она знает, что я лгу. Ей обидно, что не в ее силах сделать меня счастливым, заставить позабыть обо всем. Я начинаю возражать, хотя она ни в чем не упрекает меня. – Все хорошо, разве ты не видишь? Мне ничего не нужно. – (Она молчит. Неловкая пауза.) – Не думаешь же ты, что я дергаюсь из-за ребенка? – сдуру ляпну я.

– Ты уже пропустил несколько выходных, – ответит она. Это правда. Я стал оттягивать как мог свои еженедельные походы, отсылая деньги с посыльным или по почте. – Мне кажется, Вэл, на этой неделе надо тебе туда сходить. В конце концов, это твоя дочь.

– Знаю, знаю. Ладно, схожу.

У меня вырывается стон. И еще один, когда я слышу ее слова:

– Я тут купила ей гостинец, возьми с собой.

Ну почему мне не купить что-нибудь самому? Я подолгу простаивал перед витринами, мысленно перебирая в голове все, что мне хотелось бы купить. Не только для ребенка, а для Моны, Мелани, даже для Мод. Но я не мог себе позволить делать покупки на деньги, заработанные не мной. Того, что зарабатывала Мона, нам едва хватало на жизнь, и то более чем скромную. Мона трудилась не покладая рук. Иногда она делала мне дивные, роскошные подарки. Я умолял ее не делать этого.

– У меня же все есть, – убеждал я.

Так оно и было. (Если не считать велосипеда и пианино. Впрочем, иногда я об этом забывал.) Мы стремительно обрастали вещами, большая часть которых обречена была валяться мертвым грузом. Вот если бы у меня была губная гармошка или роликовые коньки!

Иногда на меня накатывали приступы необъяснимой тоски. Обрывок какого-нибудь сна мог поднять меня ночью с постели и заставить с упорством маньяка перебирать в памяти детские воспоминания. Например, я вдруг вспоминал дядюшку Чарли – толстого увальня, который часто усаживал меня к себе на колени, и я зачарованно внимал историям о его приключениях во время испано-американской войны. Проведать его означало долго трястись в

метро, потом в троллейбусе до тихого, уютного Глендейла, где некогда жили Джоуи и Тони. (Дядюшка Чарли приходился дядей *им*, а не мне.) Сонная деревушка не утратила своего очарования, во всяком случае для меня. К счастью, дом, где жили мои маленькие друзья, сохранился до сих пор. Таверна с конюшней, где летними вечерами собирались друзья и родственники, тоже уцелела. Помню, подростком я обходил все столы в поисках недопитых остатков на дне пивных кружек или стрелял мелочь у подвыпившей публики. Из глубин сознания всплывали даже куплеты сентиментальных немецких песенок, которые горланили посетители: *Lauderbach, lauderbach, hab'ich mein Strümpf verlor'n*⁴². Помню, как они враз трезвели, собираясь в круг на опустевшей гулкой площади: мужчины, женщины, дети, словно остатки поредевшего гвардейского полка. Члены *Kunstverein*⁴³ (ядро огромного родового наследственного *Sängerbund*⁴⁴), сплотившись как один – взрослые и дети, – с торжественной серьезностью ожидают, что глава семьи подаст сигнал к обеду. При взгляде на них невольно приходят на ум солдаты, стоящие у чужих рубежей. Бурно вздымающаяся грудь, блестящие, повлажневшие глаза, могучие голоса, сливающиеся в божественный хор, волнующую Песнь, потрясая что-то таящееся глубоко в душе, выворачивая ее наизнанку... Движемся дальше. Вот маленький костел, который оформлял господин Имхоф, отец Тони и Джоуи (он был первым художником, которого я встретил в своей жизни), его руками были сделаны витражи, фрески на потолке и стенах, резная кафедра. Хотя собственные дети побаивались его и вообще он слыл суровым, деспотичным и надменным господином, меня почему-то всегда неизъяснимо влекло к этому человеку. Перед сном мы обязаны были пожелать ему спокойной ночи и забирались на чердак, где была его мастерская. Стол был вечно завален акварельными красками. На него падал мягкий свет настольной лампы, оставляя комнату в полумраке. И тогда отец Тони и Джоуи выглядел непривычно печальным и нежным, рассеянным и каким-то нездешним. Неизвестно, что заставляло его просиживать долгие ночные часы за рабочим столом. Одно было несомненно: он был не такой, как все, человек иной породы. Идем дальше. В ложине, где мы играли в детстве, сейчас проложили железную дорогу. Рельсы стали своего рода разделительной линией, ничейной землей между деревенской окраиной и кладбищем. Когда-то на этой самой окраине жила наша дальняя родственница (я звал ее *Tante*⁴⁵ Грюсси) – удивительная красавица с огромными серыми глазами и черными как смоль волосами. Даже мне, мальчугану, было ясно, что в ней есть нечто особенное, что делало ее непохожей на остальных. Ни разу в жизни она ни на кого не повысила голоса; ни разу не отозвалась о ком-нибудь плохо; не было человека, которому она отказала бы в помощи. У нее был чарующий низкий голос, она пела бархатным контральто, аккомпанируя себе на гитаре; иногда она облачалась в маскарадный костюм и танцевала с бубном в одной руке, а в другой трепетал большой японский веер. Ее муж был горький пьяница. Поговаривали, что он ее бьет. Но кроткая *Tante* Грюсси становилась только мягче, ласковей, сострадательней, милосердней. В деревне судачили, будто она вдруг ударилась в религию, – в подлых шепотках содержался явный намек на то, что у нее не все в порядке с головой. Мне вдруг захотелось повидать ее. Я сбился с ног, пытаюсь отыскать ее дом, но никто в округе не знал, что с нею случилось. Кто-то неуверенно предположил, что она, должно быть, нашла себе прибежище в приюте для умалишенных... Станные мысли, полузабытые воспоминания тревожили меня, когда я брел по спящему Глендейлу. Очаровательная, святая Грюсси и жизнерадостный здоровяк Чарли. Я любил их обоих. Один не мог говорить ни о чем другом, кроме как о пытках и убийствах игоротов, о преследовании Агинальдо по неприступ-

⁴² Ручеек, ручеек, потеряла я чулок (нем.).

⁴³ Объединение любителей искусства (нем.).

⁴⁴ Певческий коллектив, капелла (нем.).

⁴⁵ Тетушка (нем.).

ным горам и непроходимым болотам Филиппин; другая вообще почти ничего не говорила, она просто озаряла нас своим присутствием, словно богиня, спустившаяся с небес и принявшая человеческий облик, дабы остаться среди людей и благословить их серые будни своим небесным сиянием.

Уезжая на Филиппины в чине младшего капрала, Чарли был стройным, безусым юнцом. Восемь лет спустя, когда его комиссовали, он вернулся с нашивками сержанта, весил четыреста фунтов и беспрестанно потел. Как сейчас помню его подарок: шесть пуль «дум-дум»⁴⁶ в голубом холщовом мешочке. Он утверждал, что отнял их у одного из повстанцев Агинальдо: последнего обезглавили за то, что при нем оказались эти пули (которыми немцы снабжали филиппинцев), насадили его голову на кол и выставили на всеобщее обозрение. Эта и похожие на нее байки, от которых мурашки бежали по коже, например о том, как наши солдаты на свой лад подвергали филиппинцев водным «лечебным процедурам», побудили меня проникнуться сочувствием к Агинальдо. У меня вошло в привычку молиться каждую ночь, чтобы американцам не удалось его выследить. Сам того не желая, дядя Чарли сделал из него героя моего романа.

Пока я размышлял об Агинальдо, мне вспомнился День национального флага. Меня нарядили, словно юного лорда Фаунтлероя, и мы отправились на Бедфорд-авеню смотреть парад с балкона красивого кирпичного здания. С Филиппин возвращались первые герои. Тедди Рузвельт тоже приехал: он стоял вытянувшись во фрунт во главе отряда своих неукротимых кавалеристов. Это событие взбудоражило всех от мала до велика: люди плакали и смеялись, повсюду развевались флаги и знамена, из окон летели цветы. Вышедшие на улицы целовали друг друга и оглашали воздух радостными криками. Мне было очень интересно, хотя я не понимал, чем вызван такой ажиотаж. Я не видел причин для проявления столь бурных эмоций. Вот лошади и военная форма – это да! – они произвели на меня колоссальное впечатление. В тот вечер к нам на ужин заглянули кавалерийский офицер и артиллерист. И у моих теток завязались короткие, но трогательные романы. Короткие, ибо они были на корню пресечены дедом, на дух не переносившим военных. Он даже в мыслях не допускал, что люди в форме могут стать его зятями. Филиппинскую кампанию он презрительно называл «перепалкой». Все можно было закончить за месяц, фыркал он. И подолгу рассказывал нам о Бисмарке, фон Мольтке, битве при Ватерлоо, осаде Аустерлица. Дед приехал в Америку во время Гражданской войны.

– Та война была настоящая, – с гордостью повторял он. – А уделать беспомощных туземцев – невелика доблесть...

За столом дед произнес тост в честь адмирала Дьюи, героя битвы в Манильском заливе.

– Ты же американец, – удивился кто-то.

– Да, я правильный, *добропорядочный* американец, – ответил дед. – Но не люблю, когда убивают людей. Снимайте форму, идите работать!

Валентин Нитинг – так звали моего деда – пользовался всеобщей любовью и уважением. Он прожил десять лет в Лондоне, стал швейных дел мастером, приобрел безукоризненное английское произношение и всегда с теплотой отзывался об англичанах. Он говорил, что они *цивилизованные* люди. До конца дней он сохранил безупречно английские манеры. Его ближайшим другом был некто Кроу, тощий рыжий англичанин родом из Бирмингема. Дед познакомился с ним на Второй авеню, в салуне, принадлежащем моему дяде Полу. В нашей семье Кроу недолгоблюдали. Дело в том, что он принадлежал к социалистам. Он вечно произносил речи, и притом зажигательные. Дед, памятуя о днях далекого сорок восьмого года, внимал им с энтузиазмом. Он тоже был против «хозяев». И разумеется, против военных.

⁴⁶ Разрывные пули.

Думая об этом времени, я не перестаю удивляться, что уже *тогда* одно только слово «социализм» наводило на всех панический ужас. Никто из моих домочадцев не стал бы иметь дело с человеком, объявившим себя социалистом; лучше бы уж тот открыто признал себя католиком или евреем. Америка была свободной страной, здесь каждому давался шанс, и, следовательно, долгом каждого здесь было выбиться в люди и разбогатеть. Мой отец, ненавидевший своего хозяина – «проклятого англичанина», как он называл его, – вскоре сам стал владельцем ателье. Дед вынужден был наняться к нему на работу. Но не утратил обостренного чувства собственного достоинства, целеустремленности и уверенности в себе – качеств, всегда заметно возвышавших его над отцом. Вскоре портняжные мастерские начали разоряться, и их владельцы вынуждены были объединиться, дабы совсем не обеднеть: совместно покрывать убытки, сохраняя места хотя бы для небольшого числа работников. Зарботки закройщиков, мастеров по пошиву верхней одежды, брючников продолжали расти, подчас превышая в недельном расчете долю владельцев. В конце концов – таков был последний акт драмы – эти рабочие, все как один иностранцы, к которым вокруг относились свысока, хотя порой и не без зависти, одалживали своему хозяину деньги, чтобы дело не рухнуло окончательно. Не исключено, что во всем этом сказалось пагубное влияние социалистических доктрин, рьяно пропагандируемых типами вроде Кроу. А может, и нет. Может быть, в самом феномене быстрого обогащения – несмотря на внешнюю его привлекательность, пленившую моих юных сверстников, – заложено нечто разрушительное.

Мой дед не дожил до Первой мировой войны. Он умер, оставив недурное состояние, как и многие наши соседи-эмигранты, съехавшиеся в Америку со всего света. В славной отчизне свободных людей они добились гораздо большего, нежели их потомки. Они начинали с нуля – взять, к примеру, немецкого парнишку по прозвищу Говяжий Король, моего тезку. Мясник в продовольственной лавке, с годами он настолько разбогател, что стал скупать земли в Калифорнии. Стоит признать: тогда было куда больше возможностей; но дело еще и в том, что то поколение было выковано из более прочной стали, его представители были трудолюбивее, бережливее, отличались большим здравомыслием, большей склонностью к порядку. Они начинали с самого низа, подаваясь кто в мясники, кто в столяры, плотники, портные, обувщики, – и в поте лица зарабатывали хлеб насущный. Они жили скромно, но в их домах царил уют, несмотря на отсутствие элементарных удобств и всевозможных приборов и приспособлений, без которых сегодняшняя жизнь немыслима. Как сейчас помню уборную в дедовском доме. Сначала это был просто дощатый сарай во дворе; позже соорудили довольно уютное местечко в доме. Но света там не было, даже когда провели газ, если, конечно, не считать освещением крохотную коптилку, в которую по старинке подливали ароматизированное масло. Дед считал ненужной роскошью устраивать в сортире газовую иллюминацию. Его дети были сыты, одеты, обуты, время от времени их водили в театр, в гости, на пикники – и в какие праздники эти пикники превращались! – они хором пели на собраниях *Sängerbund*. Текла полнокровная, здоровая, безо всяких закидонов, но отнюдь не скучная жизнь. Зимой дед брал детей кататься на санях, запряженных лошадьми, по заснеженным улицам. Сам он предпочитал езду на буере. Летом для детей устраивались незабываемые экскурсии на речном трамвае на Глен-Айленд или в Нью-Рошель. Разве можем мы сегодня предложить нашим детям что-нибудь, хотя бы отдаленно напоминающее те забавы и развлечения? Что может сравниться с волшебным праздничным убранством Глен-Айленда? Может быть, лишь картины Ренуара и Сёра отдаленно передают царившую там атмосферу. В них чувствуется золотистое свечение, беззаботность, праздничная пышность и то изобилие плоти, что так характерно для сладко позевывающего, дремлющего, сытого периода между Франко-прусской и Первой мировой войнами. То был расцвет буржуазии, хотя в нем уже чувствовался дразнящий привкус распада; впрочем, тех, кто обессмертил этот период, воспел в палитре и слове, разложение обошло стороной. Я никогда бы не подумал, что мой дед

подвержен этой заразе, равно как Ренуар и Сёра. Мне кажется, жизнь, какой она виделась моему деду, несравненно ближе идеалам Сёра и Ренуара, нежели нарождающемуся ныне американскому образу жизни. Думаю, если бы дед дожил, то принял бы и этих людей, и их искусство. В отличие от моих родителей. И в отличие от моих товарищей по уличным забавам.

Я медлю, продолжая перебирать картинки моего детства. Казалось, призраки прошлого обступили меня плотным кольцом и водят вокруг хоровод. Прежние дни окутаны пряным, непередаваемым ароматом. Начав свою прогулку с Глендейла, я незаметно оказался возле нашего бывшего дома. Трудно не заглянуть в родовое гнездо. Хотя я был далек от мысли наведаться к родне, до сих пор там обитавшей. Я немного постоял на противоположной стороне улицы: захотелось взглянуть на окна третьего этажа, где мы когда-то жили, воскресить образ мира, окружавшего меня в пять лет. Вот оно, это окно, обрамляющее поток моих воспоминаний; оно уйдет в вечность вместе со мной. Внутри что-то всколыхнулось, и мысли потекли в другом направлении. Я вспомнил свою панику и ужас, когда мать впервые заставила меня мыть окна. Я вжался в подоконник, осторожно выпянув вниз: от земли меня отделяло три этажа – головокружительная высота для ребенка; я будто прирос к спасительной поверхности, дабы ненароком не выпасть из этой жизни. Окно давило на колени свинцовым грузом. Внутри – ничего, кроме одуряющей боязни слететь с подоконника. Мать утверждала, что окно чем-то заляпано и это что-то необходимо смыть. (Когда я вырос, она любила рассказывать мне о том, какой я был послушный и как любил мыть окна. Или вешать белье. Как я любил это, как я любил то... Что за ложь! Проклятье!)

Углубившись в мальчишеские переживания, задаюсь вопросом: а не был ли я избалованным неженкой? Меня одевали гораздо лучше, чем остальных сверстников. Я был хорошо воспитан, смышлен, вбирал все как губка, быстро соображал. Я выигрывал все призы, срывал все аплодисменты. Глядя на такое способное чадо, родители рано уверовали, что я не особенно нуждаюсь в их опеке, потому им и в голову не приходило оглянуться по сторонам, а оглянувшись, ужаснуться атмосфере греха и порока, в которых по уши погрязли ровесники их сына. Даже слепая любовь уже была не в силах затмить в материнских глазах преступные наклонности, пустившие ростки в малютке Джонни Ладлоу. Беспечнейшая из матерей не могла не заметить, что крошка Альфи Бетч – уже вполне состоявшийся головорез. Не странно ли, что краса и гордость воскресной школы, каковой был, разумеется, я, неизменно избирал себе в наперсники самых отъявленных хулиганов в округе? Трудно сказать, сознавала ли это моя мать. Я был похож на дрессированную маленькую обезьянку, с одинаковой легкостью барабанившую и катехизис, и отборную брань, которой мог бы позавидовать отпетый уголовник. Мы постоянно отирались вокруг мальчишек постарше, жадно перенимая у них словечки попохабней и позабористей. Разница в возрасте была невелика: нам – семь-восемь, им – двенадцать-тринадцать, и когда они замечали наш повышенный интерес, то начинали молотить все подряд без разбору. Такие перлы, как «шлюха», «сука», «мудак», «ублюдок», не сходили у них с языка. Когда мы, желторотые, принимались старательно это повторять, они весело гоготали. Как-то раз, обогатив таким образом свой словарный запас, я подошел к какой-то девчонке лет пятнадцати и стал поносить ее на чем свет стоит. Когда она ухватила меня за грудки, я уже впал в такой раж, что дал бы три очка форы солдату, получившему увольнительную и пустившемуся в загул. Кажется, я даже ударил ее. Попал по руке и коленке. От обиды и унижения она была вне себя.

– Ах ты, гаденыш! Ну подожди, я тебя проучу! Сейчас ты у меня попляшешь! – приговаривала она, таща меня за ухо в полицейский участок.

Она волокла меня по широким ступенькам, потом распахнула какую-то дверь и вытолкнула на середину комнаты. Надо сказать, что телосложение у меня тогда было отнюдь

не богатырское, и я сразу сник, оказавшись перед стойкой, над которой грозно возвышалась голова дежурного полицейского.

– Позвольте узнать, что сие означает? – Громовой раскат сурового голоса как ветром сдул с меня желание продолжать веселье.

– Что язык проглотил, отвечай быстро! – потребовала девочка. – Ну-ка, давай повтори, что ты мне говорил.

От ужаса язык отказывался повиноваться. Я только судорожно открывал рот, как вытасценная из воды рыба.

– Все ясно, – произнес сержант, грозно сдвинув кустистые черные брови. – Выражался, значит. Так?

– Да, ваша честь, – кивнула потерпевшая.

– Что ж, так и запишем. – Он поднялся со своего возвышения, словно собираясь выйти к нам.

Я захныкал, а потом заревел.

– Он, вообще-то, хороший, – вступилась девочка и ласково потрепала меня по голове. – Его зовут Генри Миллер.

– *Генри Миллер?* – переспросил сержант. – Я хорошо знаю его отца и деда. Весьма уважаемые люди... Бранится, значит?

С этими словами он подошел к нам и развернул меня за плечи к себе лицом:

– Генри Миллер, как ты мог?..

(Звук собственного имени, произнесенного не просто в общественном месте, а в полицейском участке, сразил меня наповал. Я уже видел огромные буквы газетных заголовков, в ушах звенели грубые, насмешливые оклики на каждом перекрестке, требования учинить расправу над преступником (надо мной то бишь), чтоб другим неповадно было. В голове словно смерч пронесся. Я затрясся, как в лихорадке, с ужасом представив, что меня ожидает дома, – я быстро усвоил, что плохие новости разносятся с молниеносной быстротой. А вдруг сержант проявит милосердие и сообщит о случившемся матери? Она придет, и меня отпустят на поруки... Тревожные предчувствия на миг потеснила зашевелившаяся было гордость – по гулко-пустому участку все еще разносилось слабеющее эхо моего имени. Я вдруг почувствовал себя триумфатором. До сегодняшнего дня никто никогда не называл меня полным именем. Я был просто Генри. Но Генри Миллер – это уже вполне оформившийся представитель рода человеческого. Полицейский занес мое имя и фамилию в большую книгу. Они запечатлены на десятилетия вперед... За несколько мгновений я словно стал на несколько лет старше.)

Когда суровый страж порядка отпустил нас восвояси, оскорбленная девица взяла с меня слово больше никогда не ругаться. Я заметно приободрился, поняв, что никто не собирается меня наказывать, тем паче жаловаться родителям. Мне было стыдно, что я вел себя перед сержантом как размазня. Дураку ясно, что раз у него приятельские отношения с моим отцом и дедом, то он не станет мне вредить. Вместо того чтобы бояться его, я начал видеть в его лице тайного союзника. То, что наша семья на хорошем счету в полиции, больше того, чуть ли не в приятельских отношениях с нею, произвело на меня неизгладимое впечатление. Похоже, именно там и тогда зародилось во мне презрение к властям предрежающим...

Чтобы успокоиться после пережитого страха, я прошмыгнул через переднюю, высунулся на улицу и, убедившись, что мне не угрожает никакая опасность, скользнул по направлению к бывшему сортиру. Мне показалось, что возле старой коптильни кто-то маячит. Тряхнув головой, я сообразил, что это просто рисунок на заборе, изображающий даму с собачкой. Картинка была намалевана черной краской, смолой или дегтем. Сейчас она почти стерлась. Мне с детства не давала покоя эта незрелая проба пера. Именно так я представлял себе фрески Древнего Египта. (Странно, что много лет спустя, когда я занялся рисованием, моя

рука начала выводить такие же грубо очерченные силуэты, ровные, четкие линии. Я так и не научился сносно рисовать лицо анфас; вместо нормальных голов каждый раз получались все те же древние профили, в облике моих персонажей ясно проступали ястребиные или ведьминские черты. Меня упрекали, что я нарочно хочу напугать зрителей. На самом же деле мне просто никак не удавалось придать своим монстрам нормальное человеческое обличье.)

Я повернул обратно. По старой привычке вскинул глаза, чтобы поприветствовать миссис О'Мелио; на своей плоской крыше она подкармливала всех бродячих кошек в округе, а в ее скромной квартирке был настоящий кавардак. По два раза на дню у нее столовалось не меньше сотни кошек. Мать не упускала случая намекнуть, что старушка слегка тронулась в своем одиночестве. Гаргантюанское великодушие не было в ее глазах добродетелью. Широта души не принадлежала к основным свойствам характера моей матушки.

Я не спеша бреду на юг и сажусь на троллейбус. Мелькающие за окном витрины магазинчиков навевают море воспоминаний. Старые здания стоят, как и двадцать пять лет назад, несмотря на то что время основательно потрудились над ними. Потускневшие, кособокие, словно гнилые зубы, они по-прежнему служат своим обитателям. Только свет, согревавший их изнутри, безвозвратно угас. Пожалуй, всего выразительней они бывали летом; тогда они потели совсем как люди. Их владельцы старались перещеголять друг друга, наводя чистоту и уют. Блеск краски, темные тени, отбрасываемые оконными переплетами, представляли зеркальным отражением их собственного смиренного духа. Дома, в которых жили врачи, обычно выглядели лучше прочих. К врачу заходили сквозь унизанные бусами занавеси, позвякивавшие, когда их задевали. Врачи считались признанными ценителями искусства; стены их жилищ были увешаны писанными маслом полотнами в тяжелых позолоченных рамах. Сюжеты этих полотен были мне глубоко чужды. В нашем доме никогда не было ничего подобного, разве что аляповатые репродукции ядовитых расцветок, о которых забываешь, стоит только отвести взгляд.

Когда надо было идти куда-то с подарком, мать всегда снимала что-нибудь из висевшего на стене.

– Слава богу, избавились, – приговаривала она.

Желая поучаствовать в благородном деле, я волок и свои вещи, например новую игрушку, ботинки, барабан...

– Нет-нет, Генри, только не это, – отмахивалась мать. – Совсем же новые.

– Но мне это не нужно, – настаивал я.

– Не говори так, не то прогневишь Господа.

Троллейбус проехал мимо пресвитерианской церкви. Когда-то здесь проводились воскресные занятия, как сейчас помню, в два часа ровно. Обычно мы собирались в подвале, где всегда стояла приятная прохлада. Особенно хорошо там было летом, когда на улице неистовствовала жара. Огромные мухи гудели над головой, то выныривая из тени, то теряясь в ней. Невозвратно минувшее лето ассоциируется у меня с музыкой Дебюсси. Лето настоящее, земное, источающее трепещущее, живое тепло, согревающее долгие дни, слившиеся в один нескончаемый праздник. Может, Дебюсси когда-то, в другой жизни, был львом жаркого Средиземноморья? А может, в его жилах текла африканская кровь? Иначе откуда эти рвущиеся со струн протяжные, заунывные звуки, словно тоскующие по чужому солнцу, которого Дебюсси никогда не видел?

Все хорошее в моей жизни было связано с солнцем, этим слепящим золотым ореолом, висящим в небе. Директором воскресной школы был англичанин мистер Робертс. Это был удивительный человек. Этот чудаковатый пожилой господин буквально излучал живительное, божественное тепло. Его волнистая, струящаяся борода цвета пшеницы и румяное лицо дышали здоровьем и покоем. Он вечно ходил в одном и том же сюртуке с серыми подпалинами, хотя был весьма состоятельным человеком. Положение проповедника и цер-

ковного настоятеля обязывает, и в какой-то момент ему пришлось перебраться в более престижный квартал, но они с женой питали нежную привязанность к старому, насиженному месту; к тому же им нравилось заботиться о сирых и убогих. На Рождество они щедро одаривали бедноту подарками. Такой размах произвел сильное впечатление на мою мать; видимо, именно поэтому меня отдали в пресвитерианскую школу, а не в лютеранскую.

В тот вечер, делясь с Моной своими детскими воспоминаниями, я *вдруг* подумал, что надо бы послать старику – он был еще жив – нечто из мною написанного. Я думал, ему будет лестно и приятно узнать, что один из его подопечных стал писателем. Не помню, что именно я отправил ему, но мой поступок неожиданно возымел совершенно обратный эффект. С ближайшей почтой рукопись вернулась обратно, к ней было приложено письмо, написанное на безукоризненном английском. В письме говорилось о его скорби и изумлении. О том, как больно его ранило то, что его прихожанин пал так низко, опустившись до вульгарного описания низменных подробностей человеческой жизни. Было что-то в его письме о мусорном бачке и его ароматах. Это окончательно взбесило меня. Не откладывая в долгий ящик, я уселся за стол и, не стесняясь в выражениях, сочинил вдохновенный ответ, сообщив Робертсу, что он старый, выживший из ума осел и тупица и что всю свою жизнь я старался освободиться от той мертвечины и глупости, которой он нас так усердно пичкал. Желая уязвить его как можно больше, я ввернул еще что-то про Спасителя нашего Иисуса Христа. В конце письма я в оскорбительной форме посоветовал ему убраться из нашего квартала, в котором он, хоть и втерся самым наглым образом, так и остался чужаком. Подумав, я выразил надежду, что в преподобной обители вместо креста когда-нибудь засияет звезда Давида. (Мои слова оказались пророческими. Старую церковь вскоре превратили в синагогу! Дом приходского священника, где некогда жил наш обожаемый директор, занял пожилой седобородый раввин.)

Отослав письмо, я, разумеется, устыдился. В мои годы все еще строить из себя хулигана – какое ребячество! И в то же время как это по-моему: боготворить прошлое и оплевывать его. Разве не то же делал я с моими друзьями – и с писателями? Извлекая и лелея в себе из прошлого только то, что могло стать материалом для творчества...

Не так давно я взялся перечитать «Письма» Ван Гога, которые с упоением читал двадцать лет назад. Я был потрясен его одержимостью. Он страстно мечтал быть художником, только художником, и никем другим. Для людей подобного склада искусство становится религией. Христос, давно похороненный Церковью, воскресает. Необузданный, горячий Ван Гог искупает прегрешения этого мира своей волшебной кистью. Всеми презираемый, отверженный мечтатель переживает драму собственного распятия. Восстает из небытия, восторжествовав над неверующими.

Ван Гог неустанно твердит о своем желании жить просто. Безудержность и излишества допустимы лишь в средствах творческого самовыражения художника. Здесь он не отказывает себе ни в чем. Его жертва столь безмерна, что рядом с ней тускнеют и блекнут многие прославленные имена. Ван Гог сознавал, что ему не суждено получить признание при жизни; он понимал, что посеянные им всходы будут собирать другие. Но сменятся поколения, и, возможно, пример его служения искусству поможет новым талантам. Таково его сокровенное желание. Тысячу раз он повторял: «Для себя я не жду ничего. *Мы* обречены. *Мы* живем вне нашего времени».

Как он страдает, выбивается из сил, пытаюсь собрать вместе пятьдесят первоклассных холстов, которые его брат намеревается выставить напоказ высокомерному, презрительному свету! В последние годы жизни он действительно сходит с ума. Но сходит в буквальном смысле слова, весь преображаясь в дух и пламя. Он переполнен творческой энергией. Он – чаша, с краев которой непрерывно льется живительная влага. И он – одинок.

Найти натурщицу в Арле – задача не из простых. А его работы слынут вызывающими. «В них слишком много краски!» Больно и смешно читать эти строки. *Много краски!* Святая истина! Какая злая ирония таится в том, что это чудесное открытие: предельное насыщение холста цветом, чистым пылающим цветом, эта мечта всех гениальных живописцев, наконец-то реализовавшись, оказывается обращена против них самих! Бедняк Ван Гог! Богач Ван Гог! Всемогуший Ван Гог! Какое омерзительное богохульство! Это все равно что сказать о человеке, без остатка посвятившем себя Господу: «*В нем слишком много Бога!*»

Я должен писать так, говорил Ван Гог, чтобы каждый, у кого есть глаза, мог ясно видеть, что запечатлено на картине. Он словно повторил жизнь и речения Иисуса Христа. Но слепые и глухие всегда среди нас. Зрят и слышат лишь те, в ком горит бесценная искра Божия.

Известно, что Ван Гог долго отказывался работать с цветом, он долго рисовал карандашом, углем, чернилами. Известно также, что он начал с изучения человеческой фигуры, стремился черпать знания из самой природы. Он учился отмечать шелуху и схватывать самую суть. Общался с униженными и оскорбленными, с неимущими рабочими, с изгоями общества. Он восхищался крестьянином, ставя его неизмеримо выше, нежели начитанного грамотея. Вникал в очертания и форму предметов, шаг за шагом постигая их существо. Терпеливо всматривался в немудрящую, обыденную жизнь, чтобы потом, овладев необходимыми навыками и приемами, высветить эту будничность вечным божественным светом. Знакомое, приевшееся, известное он стремился сделать столь же знакомым по-новому – в метафизическом смысле. Стремился показать, что повседневный мир отнюдь не погряз во зле и уродстве; надо лишь взглянуть на него с любовью, и тогда он откроет свой блеск и величие. И когда Ван Гог удалось достичь этого – подарить нам новую землю, – выяснилось, что сам он больше не в силах пребывать с этим миром в контакте; он добровольно сделал своим прибежищем лечебницу для душевнобольных.

Понадобилось почти полвека, чтобы люди, обычные люди уразумели, что в недавнем прошлом им являлся Христос, объявивший себя художником. Публикация его писем произвела фурор. Тысячи людей устремились в музеи и картинные галереи, с силой Ниагарского водопада обрушиваясь на завораживающие шедевры неведомого и отверженного гения по имени Винсент Ван Гог. Где только не встретишь ныне репродукций его работ! Ван Гог наконец-то с нами. «Великий неудачник» вступает в свои права, его жертва была не напрасной. Ибо он не только стал достоянием масс, но воздействует на современных творцов, а это важнее.

В одном из своих писем – еще в 1888 году!⁴⁷ – он замечал: «Живопись обнаруживает тенденцию стать более утонченной: более музыкальной и менее скульптурной – *enfin elle promet la couleur*»⁴⁸. Он подчеркнул слово «цвет». Какая глубина провидения! Что есть вся современная живопись, как не вдохновенный гимн цвету? Граничащее с откровением свободное, смелое владение цветом открывает перед художником небывалые перспективы. За одну ночь перечеркнуты тысячелетия истории живописи. Перед взором раскрываются немислимые просторы.

В одном из своих замечательных писем, где Ван Гог повествует о своих открытиях в области светотени и ее законах (большинство их сформулировал Делакруа), он подробно останавливается на специфике использования черного и белого цветов. Не надо игнорировать черного, советует он. Есть черное и черное. Разве Рембрандт и Франц Халс, спрашивает он, не пользовались черным цветом? А Веласкес? У него не просто черный цвет, но двадцать семь разных оттенков черного. Все зависит от оттенка и того, как он находит применение.

⁴⁷ Письмо Ван Гога к брату Тео от 26 сентября 1888 г.

⁴⁸ Она наконец предвещает цвет (*фр.*).

То же относится и к белому. (Вскоре Утрилло подтвердит справедливость пророчеств Ван Гога. Ибо «белый период» и поныне остается лучшим на всем его пути в искусстве.)

Вспоминаю здесь о черном и белом потому, что величайший революционер в мире цвета закономерно заостряет внимание на самых главных, первых и последних вопросах. В этом уподобляясь тем праведным сынам Господним, кто не гнушался зла и уродства, но отводил им подобающее место в сотворенном ими мире добра и красоты.

Когда Армагеддон обратил девятнадцатый век в руины, старые цитадели рухнули. Демоноподобные художники, вознесшиеся к вершинам славы на его протяжении, сделали для низвержения прошлого не меньше, нежели политики и военные, промышленники и финансисты, революционеры и агитаторы, распахнувшие двери перед смертоносной стихией. Разразившаяся в 1914 году война виделась концом некой эры; она, однако, явилась лишь кульминацией чего-то глубоко запоздавшего. Как бы то ни было, в итоге открылись невиданные дотоле горизонты. Сквозь старую разрушенную плотину хлынули грандиозные потоки новой энергии. Период между Первой и Второй мировыми войнами оказался богат художественными открытиями. Именно в этот период, когда мир чувствовал глухие предвестия надвигающихся грозных потрясений, нашел я форму, в какую смог воплотить главное в самом себе. Это был трудный период – прежде всего потому, что рассчитывать приходилось исключительно на себя, на собственные ресурсы и силы. Общество, разорванное всевозможными антагонизмами, могло дать художнику еще меньшую поддержку и поощрение, нежели во времена, когда жил Ван Гог. Под вопрос оказалось поставлено само существование художника. *Однако разве не было под вопросом существование каждого из нас?*

Вторая мировая война принесла с собой смутное ощущение, на краю гибели находится сама наша планета. Мы вступили в эпоху нового апокалипсиса. Ныне дух человеческий содрогается в смертельных конвульсиях, как содрогалась земля в пору великих геологических сдвигов. Мы стряхиваем с себя леденящие объятия смерти. Странно было бы петь осанну воцарившемуся вокруг духу насилия, но очевидно: нужен мощный толчок, чтобы человеческий дух вышел из состояния анабиоза. Ведь перед нами – неизведанные дали. В нашем распоряжении – источники сил и энергии, о которых прежде нельзя было и помыслить. Нам только предстоит вновь зажечь по-человечески – освоив то необъятное богатство возможностей, какое скрывается за словом «человеческий». Героические свершения наших предшественников ныне предстают своего рода искупительными жертвами. Нам нет необходимости, уподобляясь им, класть свои тела на алтарь. Наше дело – пожинать плоды. Прошлое лежит в развалинах, будущее с ленивой негой позевывает. Не брезгуйте настоящим, полновластно владейте им! Не к этому ли зовет нас недремлющий дух? Стоит ли грезить о лучшем мире, нежели тот, где на нас, на каждом из нас лежит вся полнота ответственности? Полно изнемогать в муках во имя грядущих поколений! Эта пора позади; наступила пора творить и созидать! Ибо созидание – игра, а игра – забава богов.

Вот какой урок я выношу для себя, вновь и вновь читая о жизни Ван Гога. Его предсмертное отчаяние, его безумие, его самоубийство – что мешает истолковать все это как божественное нетерпенье? «Царство Божие внутри нас! – кричал он современникам. – Отчего же вы медлите?»

Мы проливаем крокодиловы слезы над его печальной кончиной, забывая о том, какая ослепительная вспышка сверкнула в ее канун. Разве мы плачем, когда солнце скрывается в океане? Лишь на краткие мгновенья – до и после исчезновения – являет оно нам свое немислимое великолепие. На рассвете оно воскресает, по-новому великолепное, а может, и вовсе иное. На протяжении дня оно согревает и поддерживает нас, но мы этого не замечаем. Мы знаем, что оно есть, мы рассчитываем на него, но не рассыпаемся в благодарностях, не возносим ему молитв. Великие ясновидцы вроде Ницше, Рембо, Ван Гога – солнца рода человеческого; у них та же участь, что и у небесных светил, лишь когда они канут – или канули

– в небытие или вечность, открывается нашим взорам сияние их славы. Тоскуя по их закату, мы невидящим взглядом скользим по новым солнцам, не замечаем, что они уже взошли. Оборачиваемся назад, заглядываем вперед, но не проникаем в суть того, что лежит перед нами. Даже когда нам приходит в голову вознести мольбу солнцу, дающему нам, смертным, свет и тепло, ни секунды не задумываемся о тех солнцах, что сияли над горизонтом с первых дней творенья, бездумно уверовав в то, что во Вселенной достанет светил.

Истинно так: Вселенная купается в свете. Все живо, все зажжено. Человек – он тоже пронизан неистощимой солнечной энергией. Странно: лишь в уме человеческого царит тьма и оцепенение.

Стоит кому-то обнаружить в себе чуть больше света, чуть больше энергии (здесь, на земле), как человеческое общество отторгает его. Награда за ясновидение – сумасшедший дом или крест. Похоже, наше естественное обиталище – серый, безликий мир. Так случилось всегда. Но этому миру, этому положению вещей приходит конец. Нравится нам или нет, с повязкой на глазах или без, но мы вступаем на порог нового мира. Нам придется понять и принять это, ибо великие ясновидцы, которых мы отторгли, необратимо трансформировали наше видение. Нам придется, вместе и поодиночке, стать свидетелями чудес и кошмаров. Мы будем многооки, словно бог Индра. На нас надвигаются звезды, даже самые отдаленные.

Мы шагнули так далеко, что можем констатировать существование миров, о которых древние даже не помышляли. Мы способны прозревать целые вселенные, недоступные нашему взгляду, ибо умы наши уже могут различать источаемый ими свет. И в то же время способны зримо представить себе картину нашего полного истребления. Но неужто наша участь предрешена? Нет. Наша вера сильнее нас самих. Нам открыто величие вечной жизни – той, которая дарована человеку и существование которой мы всегда отрицали. Мы слабо сопротивляемся, твердя, что мы – люди, всего лишь люди. Но будь мы вполне людьми, нашим возможностям не было бы предела, мы были бы готовы к любым неожиданностям, нам был бы доступен любой распорядок бытия. Нам нужно ежедневно, ежечасно, будто молитву, напоминать себе, что наша жизнь неизмеримо богаче наших представлений о ней. Что пользы в идолопоклонстве! Объектами поклонения впору стать нам самим. Коль скоро, отринув страх и преграды, мы действительно осознаем, кто мы по сути.

«Мне больше нравится, – писал Ван Гог, – писать глаза людей, нежели храмы и соборы. Ибо в глазах человеческих есть нечто, чего нет в соборах, как бы величественны и прекрасны ни были последние...»

3

Увы, безмятежная идиллия длится недолго – всего каких-то несколько месяцев. Временному раю скоро кладут конец сплошные неприятности, сплошная нужда, сплошное невезение. До того как я перееду в Париж, свет увидят лишь три моих коротких текста: один – в журнале, посвященном прогрессу цветного населения, другой – в журнальчике, учрежденном кем-то из знакомых и дожившем лишь до выхода первого номера, а третий – в издании, в которое вдохнул новую жизнь старина Фрэнк Харрис.

Вслед за этим все, что бы я ни вознамерился опубликовать, будет неизменно удостоверено подписью моей супруги. (За одним анекдотическим исключением, о котором еще пойдет речь.) Окружающие твердо убеждены, что без посторонней помощи мне никак не обойтись. Моя задача – писать; все остальное поручено Моне. Тем временем ее работа в театре практически свелась к нулю. За квартиру невесты сколько не плачено. Все менее и менее регулярно я навещаю Мод; алименты выплачиваю, лишь когда нам что-нибудь перепадает. Не сегодня завтра гардероб Моны прикажет долго жить, и я как последний идиот начинаю обходить своих былых возлюбленных, выпрашивая для нее что-нибудь из тряпья. Когда становится немоготу от холода, она надевает мое пальто.

Мона все очевиднее склоняется к тому, чтобы начать работать в кабаре; я не желаю об этом и слышать. С каждой почтой может прийти извещение, что тот или иной из моих шедевров принят к публикации, а также подтверждающий это приятное известие чек. По городу курсируют не то двадцать, не то тридцать моих рукописей; они разлетаются по назначенным адресам и возвращаются обратно с точностью почтовых голубей. Скоро неподъемной проблемой делаются расходы по рассылке. Неподъемной проблемой становится все без исключения.

В разгар этих неурядиц нас ненадолго выручает возникновение моего старого приятеля О'Мары, который, завязав с «Космодемоником», подрядился на судно, промышлявшее рыбной ловлей на Карибах. Это предприятие помогло ему собрать маленький капиталец.

Не успели мы обнять друг друга, как О'Мара, неподражаемым жестом вывернув карманы, вывалил на стол горстку кредиток.

– Выручка, – лаконично пояснил он. Предназначенная для совместного потребления. Всего набралось несколько сот долларов – достаточно для того, чтобы либо рассчитаться с долгами, либо безбедно просуществовать пару месяцев. – Есть что-нибудь выпить? Нет? Так я мигом.

И вернулся с несколькими бутылками и кучей жратвы под мышкой.

– Где у вас кухня? Что-то не вижу.

– Да тут ее нет; мы, так сказать, дома не готовим.

– Что-что? – изумился он. – Нет кухни? И сколько вы выкладываете за эту хибару?

Когда мы сказали, он заявил, что мы сбрендили, ей-ей, сбрендили. Мона, однако, вовсе так не считала.

– Ну и как же вы управляетесь? – осведомился О'Мара, почесывая затылок.

– Честно говоря, не особенно, – ответил я.

Мона уже готова была разрыдаться.

– Вы что, оба без работы? – продолжал свой допрос О'Мара.

– Вэл работает, – живо откликнулась она.

– По-моему, ты хочешь сказать: пишет, – констатировал он, прозрачно намекая, что мое творчество – не более чем вид досуга.

– Разумеется, – отозвалась Мона язвительно, – а что, по-твоему, он должен делать?

– Что должен делать? Да ничего. Просто мне любопытно, как вы живете... в смысле – на какие шиши?

Он помолчал, а потом спросил:

– Кстати, тот человек, что открыл мне дверь, он кто – домовладелец? С виду вполне цивилизный.

– Так оно и есть, – ответил я. – Он виргинец. Никогда не достает нас с квартплатой. Джентльмен до мозга костей.

– Таких ценить надо, – резюмировал О’Мара. – Слушай, может, ему выдать немного? – И указал на кучку бумажек на столе.

– Нет-нет, не трудитесь пожалуйста, – незамедлительно вмешалась Мона. – Ничего страшного, подождет еще немного. К тому же на днях я получу деньги.

– В самом деле? – проронил я, неизменно чуя подвох в таких скоропалительных заявлениях.

– Ну ладно, черт с ним, – заметил О’Мара, разливая шерри, – давайте выпьем. Я, кстати, купил яиц, ветчины и приличного сыру. Жаль, что все корове под хвост.

– Что значит: корове под хвост? – вознегодовала Мона. – У нас в ванной небольшая плита на две горелки.

– Так вот где вы готовите? Господи!

– Нет, мы просто поставили ее туда, чтоб не торчала на виду.

– Но ведь они, наверху, должны слышать запах, разве нет? – не унимался О’Мара, имея в виду владельца квартиры и его жену.

– Конечно, – согласился я, – но они тактичные люди. Делают вид, что не замечают.

– Золото, а не люди, – заключил О’Мара. По его убеждению, на такой такт способны только южане. Впрочем, спустя еще минуту он уже предлагал нам съехать куда-нибудь подешевле, где есть кухня и прочее. – С вашим-то образом жизни, ребята, этим деньгам не продержаться и недели. Я, конечно, пошарю кругом по части работы, но ведь вы меня знаете. Честно скажу, мне надо малость передохнуть.

Я улыбнулся.

– Не дрейфь, – успокоил его я, – все хорошо. Как ни крути, с тобой нам будет легче.

– А где он будет спать? – спросила Мона, далекая от восторга перед открывающейся перспективой.

– Можно купить раскладушку, не правда ли? – Я указал на кучку денег, лежавшую на столе.

– А хозяин?

– Ну, сразу мы ему не скажем. К тому же разве не наша привилегия – принимать гостей, когда они приходят? Кто нас обязывает объявлять, что он тут живет?

– Да я и на полу могу спать, – заявил О’Мара.

– Нет, этого я не допущу! После обеда сходим и купим подержанную раскладушку. А внесем, когда стемнеет, правда?

Сейчас самое время сказать пару слов Моне, почувствовал я. Было очевидно: О’Мара не вызвал у нее горячей симпатии. Слишком уж он, на ее взгляд, прост и прямолинеен.

– Послушай, Мона, – начал я, – когда ты лучше познакомишься с Тедом, он тебе понравится. Мы ведь знаем друг друга с детских лет, не так ли, Тед?

– Да я ничего против него не имею, – отозвалась Мона. – Просто не хочу, чтобы нам указывали, что делать и чего не делать, вот и все.

– Она права, Тед, – признал я, – слишком уж ты, как бы это сказать, напорист. Видишь ли, с тех пор как мы общались, много воды утекло. Все теперь по-другому. И должен заметить, до последнего времени все у нас шло прекрасно. Благодаря Моне. Слушайте, если вы двое не поладите друг с другом, тогда я просто не знаю, что и делать.

- Я исчезну по первому знаку, – заверил О’Мара.
- Извини, – сказала Мона. – Пойми меня правильно: если Вэл говорит, что ты друг, значит в тебе есть что-то...
- А с какой стати он Вэл? – перебил О’Мара.
- Да просто ей нравится звать меня не Генри, а Вэлом. Ничего, привыкнешь.
- Черта с два привыкну. Для меня ты – Генри.
- Ну, в общем, поладим, что тут обсуждать. – Я решил положить конец распре. И подошел к столу проинспектировать принесенную снедь. – Как ты думаешь, не отобедать ли нам? – спросил я.
- Сейчас только одиннадцать, – ответила Мона.
- Знаю, только я что-то проголодался. Эти яйца и ветчина чертовски привлекательны. К тому же мы в последние дни не так уж хорошо ели. Есть смысл наверстать упущенное.
- Тут уж О’Мара не мог сдерживать свою энергию:
- Пока я здесь, питаться будете по-королевски. Эх, была бы здесь нормальная кухня! Я так умею готовить – пальчики оближешь.
- Мона умеет готовить, – охладил я его пыл. – Мы едим шикарно... когда едим.
- Что? Ты хочешь сказать: не каждый день?
- Он преувеличивает, – ответила Мона. – Стоит Вэлу остаться без завтрака или ужина, и он начинает уверять, будто умирает с голоду.
- И это чистая правда, – заметил я, наливая себе еще шерри. – У меня завтрашний день из головы не выходит. Что-то подсказывает, что он будет нелегким.
- Так ты ничего еще не продал? – спросил О’Мара.
- Я покачал головой.
- Худо, – констатировал он. И, подумав, продолжал: – Слушай, дай мне глянуть, что ты там накопал. Если товар того стоит, может, я тебе комиссию сделаю.
- Если товар того стоит? – вспыхнула Мона. – Что ты хочешь этим сказать?
- О’Мара расхохотался:
- Господи, да знаю я, что он гений. Может, в том-то и камень преткновения. Этой публике нельзя предлагать такую продукцию, понимаешь? Разбавить надо. А Генри – мне ли его не знать?
- С каждой попыткой помочь, какую предпринимал О’Мара, замешательство усугублялось. У меня было предчувствие, что данный альянс долго не продлится. И все-таки: пока есть деньги, отчего бы нам не воспользоваться передышкой? А потом он, даст Бог, найдет себе работу и съедет.
- Сколько я знал О’Мару, тот всегда исчезал и возникал как чертик из коробочки – с небольшой заначкой, которой неизменно делился со мной. И пожалуй, ни разу не заставлял меня, что называется, на коне. Наша дружба зародилась, когда нам было по семнадцать-восемнадцать. Впервые столкнулись мы в непроглядную ночь на железнодорожной станции в Нью-Джерси. Тогда мы с Биллом Вудраффом были на каникулах на побережье живописного озера. Там нас и навестил их общий босс Алек Уокер, прихвативший с собой для разнообразия О’Мару. Расстояние от станции до фермы, где обитали мы с Биллом, было немаленькое. (Добирались в конной повозке.) Около полуночи мы добрались до фермы. Спать еще никто не хотел. О’Маре не терпелось взглянуть на озеро, рассказами о котором ему прожужжали все уши. Забравшись в лодку, мы поплыли к середине озера, простиравшегося на три мили по округе. Тьма стояла хоть глаз выколи. И вдруг О’Мара, не тратя попусту слов, стянул с себя одежду. Заметил только, что хочет поплавать. И вмиг нырнул в черную воду. Казалось, вечность прошла прежде, чем он вновь появился на поверхности; мы так его и не видели, слышали только его голос. Он пыхтел и отдувался, как морж.
- Что стряслось? – спрашиваем.

– В водорослях запутался, – отозвался он.

Перевернувшись на спину, он на несколько секунд замер, чтобы перевести дыхание. А затем быстро поплыл вперед, энергично загребая руками. Мы следовали за ним, время от времени окликая по имени, уговаривая вернуться в лодку прежде, чем он выдохнется и вконец заледенеет.

Так мы и познакомились. Этот нырок в воду произвел на меня неизгладимое впечатление. Я восхищался мужеством и бесстрашием О'Мары. За неделю, что мы провели вместе на ферме, нам довелось выведать друг у друга всю подноготную. И теперь Вудрафф оказался в моих глазах еще большим неженкой и слюнтяем. Выяснилось, что он не только малодушен и трусоват: он был жаден и расчетлив. А О'Мара – тот всегда был безрассуден и щедр. Прирожденный авантюрист, он в десять лет сбежал из сиротского приюта. И где-то на юге, прирабатывая на карнавале, повстречал Алека Уокера, который немедленно проникся к нему симпатией и предложил работу у себя в Нью-Йорке. Позднее он взял в свою контору и Вудраффа. С Алеком Уокером в ближайшие годы у нас вообще будет немало совместных начинаний. Так, он станет спонсором, нет, буквально святым-покровителем нашего клуба. Но я забегаю вперед... Собственно, сказать-то я хотел вот что: О'Маре я никогда не мог отказать в чем бы то ни было. Он делился всем и ожидал того же в ответ. По его убеждению, только так и можно вести себя с друзьями. Что до морали, то у него таковой вовсе не было. Ощути он потребность в женщине, с него стало бы спросить, нельзя ли ему переспать с твоей женой – просто чтобы перебиться до того, как найдет себе бабу. Если надо было вам помочь, а денег у него не было, он мог, ни секунды не колеблясь, где-нибудь стянуть их или подделать подпись на чеке. И при этом не чувствовал ни малейших угрызений совести. Он любил вволю поесть и выспаться всласть. Работу ненавидел, но, принимаясь за какое-нибудь дело, брался за него всей душой. О'Мара был твердым сторонником того, что деньги надо делать быстро. Его девизом было: «Сделай рейс и сматывайся». Испытав судьбу во всех без исключения видах спорта, он обожал охоту и рыбалку. Но уж в чем был настоящим докой, так это в картах: за карточным столом он преображался, становясь, как бы по контрасту с собственной натурой, расчетливым и мелочным. Впоследствии оправдываясь тем, что никогда не играет ради самой игры. Нет, он играл, чтобы выиграть, одержать верх, победить. Подчас не брезгуя и жульничеством, когда бывал уверен, что это сойдет ему с рук. Самого себя, однако, О'Мара видел в романтическом свете – как на редкость дальновидного игрока, наперед просчитавшего все возможные варианты.

Привлекательнее всего в нем было то, как он говорил. Во всяком случае, для меня. Большинство моих друзей находило его однообразным. Но только не я; я готов был слушать, что говорит О'Мара, не испытывая ни малейшего соблазна самому раскрывать пасть. Все, что я делал, – это забрасывал его вопросами. Полагаю, общение с ним так много давало мне именно потому, что ему были ведомы миры, для меня изначально недоступные. Он побывал во многих уголках земного шара, несколько лет прожил на Востоке, в частности в Китае, Японии и на Филиппинах. Мне нравилось, как он рассказывает о восточных женщинах. Он всегда отзывался о них с нежностью и благоговением. Нравилось и то, как он описывает рыб, особенно крупных, этих чудищ морских глубин. Или змей, которые были для него чем-то вроде домашних животных. Цветы и деревья тоже неизменно фигурировали в его рассказах, причем складывалось впечатление, что О'Маре до мелочей знакомы все их разновидности и характерные особенности. Облику моего друга добавляло колоритности и то, что О'Мара не понаслышке знал военное дело: еще до того, как разразилась война, он отслужил срок в армии. Дойдя до ротного старшины, что не забывал подчеркивать. О служебных талантах и добродетелях, коими, по убеждению О'Мары, должен обладать образцовый носитель этого звания, рассуждал так красноречиво и авторитетно, что впору было усомниться: действительно ли полковники и генералы, а не эти маленькие удельные князьки определяют лицо

армии? Об офицерах он, напротив, всегда отзывался с неприязнью и презрением, а подчас и с ненавистью.

– Меня пытались подтолкнуть по служебной лестнице, – обронил он как-то, – но я и слышать об этом не хотел. Когда я был старшиной роты, я командовал парадом и признавал это. Лейтенантом может стать любая бездарь. А вот чтобы быть старшиной, для этого нужно иметь голову на плечах.

Рассказывая, мой друг был в своей стихии. Никогда не торопился, никогда не спешил закончить. Только не О’Мара. И кстати, по трезвой лавочке бывал так же разговорчив, как и в подпитии. Разумеется, в моем лице он обрел незаменимого слушателя. Идеального, если можно так выразиться. Достаточно было кому-нибудь произнести в те дни слова «Китай», «Ява» или «Борнео», заговорить о чем-то далеком, чужом, экзотическом – и я весь обращался в слух.

Поражало в О’Маре и то – крайне необычное в людях этого типа, – что он много и охотно читал. Чуть ли не первое, что он делал при очередной встрече, – это учинял подробный осмотр имеющимся в наличии книгам. Прочитанные книги также становились полноправным предметом наших разговоров. И замечу, впечатления О’Мары зачастую воздействовали на меня сильнее, нежели впечатления других моих друзей, более начитанных и более критично настроенных. И это понятно: как и я, О’Мара сполна принимал на себя энергетику запечатленного на книжных страницах, как и я, был весь проникнут энтузиазмом. У него не было критического инстинкта. Если та или иная книга вызывала у него интерес, это была хорошая книга, или грандиозная книга, или замечательная книга. Глотая произведения одних и тех же авторов, мы жили в их книгах той же яркой, напряженной, захватывающей жизнью, что и в наших воображаемых странствиях по Китаю, Индии, Африке. Нередко эти экскурсии в область мемориально-фантастического начинались за обеденным столом. За кофе О’Маре вдруг придет на память какой-нибудь занятный случай из его полной крутых поворотов и превратностей судьбы биографии. Мы тут же начнем его подначивать. В результате в два-три часа утра мы еще сидим за столом, уже вполне созрев для того, чтобы снова перекусить – для бодрости. А затем возникает потребность немного пройтись – как он выражался, «набрать в легкие чистого воздуха». Само собой, весь следующий день оказывается сломан. Ни одному из нас не приходит в голову вылезать из постели до полудня. Завтрак пополам с обедом неизменно превращается в весьма продолжительный процесс. А так как никто из нас не приучен жить по принципу «встать пораньше и шагнуть подальше», теперь, когда полдня уже позади, мы, натурально, подумываем о том, чтобы отправиться в театр или кино.

Это было прекрасно – пока были деньги...

Наверное, именно благодаря О’Маре, с его практическим складом ума, зародилась у меня мысль самому печатать и распространять мои короткие стихотворения в прозе. Просмотрев то, что я «накропал», О’Мара пришел к убеждению, что вряд ли найдется издатель, который на свой страх и риск их опубликует. Я признавал, что он прав. В конце концов, у меня полно друзей и знакомых, и все они, по собственному заявлению, сгорают от желания мне помочь. Так почему бы мне для начала не сбывать свою писанину непосредственно в их руки? Я озвучил эту мысль О’Маре. Он нашел ее превосходной. Итак, я буду рассылать свои произведения наложенным платежом, а он возьмет на себя обязанности коммивояжера, иными словами, будет ходить от конторы к конторе с моими опусами под мышкой. И ведь у него тоже полно друзей... Короче, мы отыскивали никому не известного типографа, который составил для нас весьма умеренную смету; он располагал изрядным запасом плотной бумаги разных цветов, каковую и намерен был пустить в дело. Выпускать наметили по одному листу в неделю разовым тиражом пятьсот экземпляров. А жанр мы определили исходя из опыта Уистлера: «натюрморты». Пера Генри В. Миллера.

Смешнее всего (по крайней мере, по прошествии времени), что первое мое стихотворение в прозе, отлившееся в эту форму, вдохновлено было сберегательным банком Бауэри. Нет, отнюдь не горам золота, дремавшего в его сейфах, а архитектуре его нового здания были посвящены строки моего опуса. «Феникс Бауэри» – так я его назвал. Не могу сказать, что оно привело моих друзей в неопишуемый восторг, но подобающую мину они сделали. В конце концов, свой дифирамб чуду современного зодчества я оценивал более чем скромно – в стоимость ресторанного завтрака. Продай мы по такой цене пять сотен «натюрмортов», и составила бы вполне пристойная небольшая сумма.

Наряду с другими способами сбыта мы пытались наладить и годовую подписку – со скидкой. Все наши проблемы были бы с успехом решены, будь мы в состоянии набирать по пять-шесть подписчиков в неделю. Но даже самые преданные из моих друзей сомневались в том, что мое начинание доживет до конца года. Они хорошо меня знали. И были уверены, что пройдет месяц-другой, и я с головой нырну еще в какой-нибудь проект. Максимум, что мне удалось сделать, – это распространить подписку на месяц, а она, понятно, проблем не решала. О’Мару такая реакция моих друзей привела в ярость; лучше уж, заявил он, иметь дело с чужими. Каждое утро, поднимаясь спозаранку, отправлялся он добывать для меня подписчиков. Шастая по Бруклину, Манхэттену, Бронксу, Стейтен-Айленду – словом, везде, где, по его прикидкам, могла светить удача.

Не успел я выпустить два или три «натюрморта», как у Моны родилась новая идея. Она подпишет под ними свое имя и будет разносить их из одной точки Виллидж в другую. Под «точками» имелись в виду значные места. Подвыпив, посетители не слишком внимательно вглядываются в то, что им предлагают, считала она. К тому же как устоять перед обаянием красивой женщины? О’Мара отнесся к этой новации скептически (с его точки зрения, у нее не было деловой основы), однако Мона была настроена решительно. К тому времени у нас собрался внушительный набор отпечатанных на разноцветной бумаге выпусков; все, что требовалось, – это вымарать из каждого мое имя и вписать ее. Вряд ли кто-либо заметит подмену автора.

Первую неделю все шло как нельзя лучше. «Натюрморты» расхватывали как горячие пирожки. Одни брали все выпуски подряд, другие за один выпуск платили стоимость трех или пяти. Похоже, Мона набрела на золотую жилу. Сплошь и рядом мы получали просьбы выслать тот или иной «натюрморт» наложенным платежом. Сплошь и рядом О’Маре удавалось законтрактовать подписчика – на полгода, на год. Голова у меня шла кругом от наплыва идей, которым предстояло с блеском воплотиться в будущих выпусках. К черту издателей: мы вполне способны сами о себе позаботиться.

Пока Мона совершала ежевечерний обход увеселительных заведений Виллиджа, мы с О’Марой рыскали по городу в поисках свежего материала. Пожалуй, будь мы репортерами в большом газетном синдикате, и то не смогли бы вертеться быстрее и работать оперативнее. Куда только мы не совали нос, во что только не вникали! Один день – сидим на местах для прессы на шестидневных велогонках, другой – у самого каната на дружеском матче по боксу. А вечерами предпринимаем многочасовые пешие походы, вознамерившись, к примеру, во всех деталях изучить, как течет жизнь в Чайнатауне или на Бауэри; или – «для разнообразия» – отправляемся в Хобокен или еще какой-нибудь богом забытый городишко в Нью-Джерси... Как-то раз, пока О’Мара вкалывал на меня в Бронксе, я зашел к Неду и уговорил его пойти со мной в театр бурлеска на Хьюстон-стрит; его спектакли заслуживали того, чтобы быть описанными во всех подробностях. Нед же был необходим мне как иллюстратор. Само собой разумеется, на всякий пожарный случай мы запаслись убедительной легендой: дескать, некоему журналу требуется репортаж. К несчастью, Клео там уже не работала; ее место заняла молодая сногшибательная блондиночка, с головы до пят источавшая неотразимое эротическое обаяние. Перекинувшись с ней парой слов за кулисами, мы без особого

труда уломали ее выпить с нами после спектакля. Она оказалась одной из тех безмозглых шлюшек, какие во множестве плодятся в Ньюарке, Сэндаски и тому подобных дырах. Разражаясь смехом, начинала подвывать как гиена. Обещала познакомить меня со своим приятелем-комиком, но он куда-то слинял. Зато перед нами предстал целый табун девиц из кордебалета; увы, одетыми они смотрелись еще хуже, чем на сцене. За стойкой бара я разговорился с одной из них. И узнал, что она учится... чему бы вы думали?... Игре на скрипке! Невзрачная, как мышка, сексуальная, как ножка стола, она была тем не менее неглупа и по-своему мила. Нед начал обхаживать блондинку, без особых оснований надеясь, что ему удастся заманить ее к себе в мастерскую, а там...

Воплотить атмосферу такого вечера в ткань «натюрморта» – то же самое, что разгадать замысловатую шараду. Требовался не один день для того, чтобы я смог свести мое стихотворение в прозе к нужному объему. Лист вмещал не больше двухсот пятидесяти слов. А я обычно начинал с двух или трех тысяч, беспощадно элиминируя все лишнее и не идущее к делу.

Что до Моны, она редко возвращалась домой раньше двух часов ночи. Мне казалось, такой образ жизни был ей несколько утомителен. И дело, конечно, не в позднем часе суток, а в атмосфере, царившей в ночных клубах. Правда, от времени до времени она знакомилась там с интересными людьми. Вроде, например, Алана Кромвеля, отрекомендовавшегося банкиром из Вашингтона, округ Колумбия. Птицы такого полета были как раз по ней: ее всегда приглашали присесть за столик и поговорить. Если верить Моне, этот Кромвель был культурным человеком. Начал с того, что разом купил все, что у нее с собой было: выложил за стопку «натюрмورت» семьдесят пять или восемьдесят долларов, а уходя, забыл взять с собой – полагаю, не без умысла. Джентльмен, черт его побери! Примерно раз в десять дней он наезжал в Нью-Йорк по делам. Его всегда можно было встретить в «Золотом орле» или «Гнездышке у Тома». Никогда не покидал ее, не расставшись в ее пользу с полусотенной купюрой. И как утверждала Мона, одиноких душ, вроде этого Кромвеля, вокруг нее вилось немало. Причем весьма состоятельных. Скоро до меня стали доходить слухи и о других – таких, как мебельный магнат, круглый год державший за собой номер люкс в «Уолдорфе», или профессор Сорбонны Моро, в каждый свой приезд водивший Мону по самым экзотическим местам Нью-Йорка, или нефтяной король из Техаса по имени Нейбергер – тот столь безразлично относился к презренному металлу, что всякий раз, вылезая из такси, независимо от проделанного расстояния давал водителю пятерку чаевых. Был в числе ее поклонников и ушедший на покой владелец пивоваренного предприятия в Милуоки, до страсти обожавший музыку. Этот всегда заблаговременно извещал Мону о своем приезде, чтобы она могла составить ему компанию на концерт, ради которого он пускался на такие издержки. Маленькие приношения, какие получала Мона от всех этих типов, во столько раз превышали все, что мы могли в поте лица заработать, что в конце концов О'Мара и я думать забыли о подписчиках. Нераспроданные экземпляры «натюрморт», скапливавшиеся к концу недели, мы бесплатно адресовали тем, кому, по нашему мнению, они были небы интересны. Посылали то редакторам газет и журналов, то вашингтонским сенаторам. То главам больших промышленных предприятий – из чистого любопытства, не более того. А подчас – это было еще интереснее – наугад выбирая имена в телефонном справочнике. Как-то раз содержание одного из «натюрморт» мы телеграфировали директору сумасшедшего дома на Лонг-Айленде – разумеется, назвавшись несуществующим именем. Каким-то совершенно невообразимым – вроде Алоизия Пентекоста Омеги. Просто чтобы сбить того с толку!

Эта озорная мысль пришла нам после очередного визита Осецки, который в последнее время стал у нас частым гостем. Так звали архитектора, проживавшего по соседству; познакомились мы с ним однажды вечером в баре за несколько минут до закрытия. В первые дни он производил впечатление вполне здравомыслящего человека, охотно делись с нами рас-

сказами о большом конструкторском бюро, в котором работал. Любитель музыки, Осецки обзавелся шикарным граммофоном и по ночам, нализавшись вдупель, врубал его на полную мощь – пока разбуженные соседи не начинали барабанить ему в дверь.

Собственно, в этом еще не было ничего необычного. Время от времени мы появлялись у него в доме, где, кстати, никогда не переводилось спиртное, и вместе с ним слушали его треклятые пластинки. Мало-помалу, однако, в его речах стали появляться странные нотки. Лейтмотивом настойчивых жалоб Осецки было полнейшее неприятие им собственного шефа. Или, точнее сказать, подозрения, которые он питал в отношении своего шефа.

Поначалу, правда, Осецки скрытничал, мялся, не решаясь выложить всю правду о своих служебных невзгодах. Но, увидев, что его рассказы не вызывают у нас очевидных сомнений или явного неодобрения, с обезоруживающей легкостью отвел душу.

Похоже, шеф решил во что бы то ни стало от него отделаться. Но поскольку у него не было на Осецки никакого компромата, не знал, как это обставить.

– Вот, значит, почему он каждый вечер напускает в ящик твоего письменного стола блох? – подвел итог О’Мара, делая мне знак своей лошадиной ухмылкой.

– Я не утверждаю, что это он. Просто я каждое утро их там нахожу. – И с этими словами наш знакомый начинает скрести себя во всех местах.

– Ну, понятно, не своими руками, – вступаю в игру я. – Отдаст приказ уборщице, и дело с концом.

– Я и уборщицу не могу винить. Вообще не выдвигаю обвинений – по крайней мере, публичных. Просто я считаю: это запрещенный прием. Будь он нормальным мужиком, так прямо выдал бы мне выходное пособие и сказал: видеть тебя не хочу.

– Слушай, а почему бы тебе не отплатить ему той же монетой? – Лицо О’Мары приняло злое выражение.

– То есть как?

– Ну... напустить блох в ящик его письменного стола?

– У меня и без того хватает неприятностей, – простонал несчастный Осецки.

– Но ведь работу ты все равно потеряешь.

– Ну, это еще вопрос. У меня хороший адвокат, и он готов меня защищать.

– А ты уверен, что тебе все это не привиделось? – спросил я с самым невинным видом.

– Привиделось? Да только гляньте на эти стаканы под ножками стульев. Он и сюда ухитрился их напустить.

Я бегло огляделся. Действительно, даже ножки столика под граммофоном были погружены в стеклянные стаканы, доверху полные керосином.

– Господи Иисусе, – заволновался О’Мара, – у меня тоже все начинает чесаться. Слушай, ты совсем свихнешься, если немедленно не бросишь это место.

– Что ж, – ровным, невозмутимым тоном отозвался Осецки, – свихнусь так свихнусь. Но не подам заявления об уходе. Такого удовольствия ни в жизнь ему не доставлю.

– Знаешь, – сказал я, – ты уже малость не в себе, раз так рассуждаешь.

– Верно, – признал Осецки. – И ты был бы не в себе. Вы что, думаете, это нормально – чесаться ночь напролет, а наутро вести себя как ни в чем не бывало?

Крыть было нечем. По пути домой мы с О’Марой начали раздумывать, как помочь бедолаге.

– С его девчонкой надо потолковать, – заметил О’Мара. – Может, она пособит.

Впрочем, для этого требовалось, чтобы Осецки представил нас своей благоверной. Придется, видно, как-нибудь пригласить их к обеду.

«А вдруг она тоже не в себе?» – подумалось мне.

Вскоре после этого случай свел нас с двумя ближайшими друзьями Осецки – Эндрюсом и О’Шонесси, тоже проектировщиками. Канадец Эндрюс был невысоким коренастым

пареньком с хорошими манерами и очень неглупым. Он знал Осецки с детства и, как нам предстояло убедиться, был ему безраздельно предан. Полной противоположностью ему был О'Шонесси: крупный, шумный, пышущий здоровьем, жизнелюбивый и бесшабашный. Всегда готовый удариться в загул. Никогда не отказывающийся от хорошей выпивки. О'Шонесси был не глупее своего собрата, но ум свой предпочитал не выпячивать. Любил поговорить о жратве, о женщинах, о лошадях, о висячих мостах. В баре вся троица являла собой прелюбопытное зрелище – ни дать ни взять сценка из романов Джорджа Дюморье или Александра Дюма. Братство неразлучных мушкетеров, неизменно готовых подставить друг другу плечо. А не познакомились раньше мы потому, что до недавнего времени и Эндрюс, и О'Шонесси были где-то в командировке.

Тот факт, что Осецки подружился с нами, приятно удивил обоих. Они тоже в последние недели стали замечать в его поведении некоторые странности, но не знали, что и думать. Ведь общий их шеф – на этот счет Эндрюс и О'Шонесси были единодушны – мужик что надо. И просто непостижимо, с чего Осецки вздумывалось усматривать в нем источник всех своих несчастий. Если только... видите ли, у Осецки есть девушка и она...

– А с ней-то, с ней-то что такое? – хором перебили мы.

И тут красноречие Эндрюса внезапно иссякло.

– Я ведь недавно ее знаю, – только и заметил он. – Одним словом, странная она какая-то. У меня от нее мурашки бегут по коже. – И замолчал.

А его друг – тот и подавно склонен был отнестись ко всему происходящему без особого драматизма.

– Да ладно, нечего из мухи слона делать, – сказал О'Шонесси, рассмеявшись. – Слишком закладывает за галстук, чего уж тут мудрить. Что там чесотка и зуд, когда к тебе что ни ночь кобры да удавы в кровать заползают. А вообще-то, будь я на его месте, я б уж скорее с коброй постель делил, нежели с этой кралей. Есть в ней что-то такое... нездешнее. От вампира. – И опять разразился хохотом. – Словом, говоря без обиняков, пиявка она. Знаете таких?

Все было прекрасно, пока не кончилось: наши прогулки, наши споры, наши поиски и вылазки в город, люди, с которыми мы сталкивались, книги, которые мы читали, пища, которую поглощали, планы, которые строили. Жизнь шипела и пенилась, как шампанское в горлышке едва открытой бутылки, или, напротив, текла вперед с негромким урчанием, напоминая работу хорошо отлаженного двигателя. Вечерами, если на голову нам никто не сваливался, за окном подмораживало, а мы бывали на мели, у нас с О'Марой заводился один из тех разговоров, что частенько затягивались до утра. Подчас поводом становилась только что прочитанная книга – вроде «Вечного мужа» или «Императорского пурпура»⁴⁹. Или «Радужной шейки», этой замечательной повести о почтовом голубе⁵⁰.

С приближением полуночи О'Мара начинал нервничать и волноваться. Его тревожила Мона: что она, где она, не грозит ли ей опасность.

– Да ты не волнуйся, – отзывался я, – она знает, как за себя постоять. Что-что, а опыта у нее хватает.

– Ясное дело, – отвечал он, – но черт возьми...

– Знаешь, Тед, стоит один раз дать этим мыслям вывести себя из равновесия, и уж точно сойдешь с катушек.

– Похоже, ты ей доверяешь на все сто.

– А с какой стати мне ей не доверять?

⁴⁹ «Императорский пурпур» – роман Эдгара Солтуса (1855–1821).

⁵⁰ «Радужная шейка, или История голубя» – изданная в 1928 г. в Америке детская повесть индийского писателя Дхана Гопала Мукерджи (1890–1936).

И тут О'Мара начинал хмыкать и мекать:

– Ну, будь она моей женой...

– Ты же никогда не женишься, так какой смысл во всем этом трепе? Помяни мое слово: появится ровно в десять минут второго. Сам увидишь. Не заводись.

Иногда я не мог не улыбнуться про себя. В самом деле, глядя, как близко принимает он к сердцу ее отлучки, впору было подумать, что Мона – *его* жена, а не моя. И что удивительно: аналогичным образом вели себя чуть ли не все мои друзья. Страдательной стороной был я, а тревоги выпадали на *их* долю.

Был только один способ заставить его слезть с конька – инициировать очередной экскурс в прошлое. О'Мара был лучшим из всех «мемуаристов», каких мне доводилось когда-либо знать. Вспоминать и рассказывать ему было то же, что корове – теленка облизывать. Питательной почвой для него становилось решительно все, что имело отношение к прошлому.

Но больше всего он любил рассказывать об Алеке Уокере – человеке, который подобрал его во время карнавала у Медисон-сквер-гарден и пристроил у себя в конторе. Алек Уокер был и остался для моего друга загадкой. О'Мара неизменно говорил о нем с теплотой, восхищением и признательностью, однако что-то в натуре Алека Уокера всегда его озадачивало. Однажды мне пришло в голову доискаться, что именно. Казалось, наибольшее недоумение О'Мары вызывало то, что Алек Уокер не проявлял видимого интереса к женщинам. А ведь красавец был хоть куда! Заполучить в постель любую, на кого он положил бы глаз, ему было раз плюнуть.

– Итак, по-твоему, он не педик. Ну, не педик, так девственник, и вопрос исчерпан. А меня спросишь, так я скажу, что он – святой, которого случайно не причислили к лику.

Но это сухое прозаическое объяснение О'Мару никак не удовлетворяло.

– Единственное, что мне непонятно, – добавил я, – это как он позволил Вудраффу вить из себя веревки. Если хочешь знать, тут что-то нечисто.

– Да нет, – поспешно ответил О'Мара, – Алек просто размазня. Его каждый может разжалобить. Слишком уж у него доброе сердце.

– Послушай, – снова заговорил я, исполнившись решимости исчерпать эту тему раз и навсегда, – скажи мне правду... Алек – он никогда к тебе не подкатывался?

И тут О'Мара загоготал во всю мощь своих легких:

– Что? *Подкатывался*? Да ты просто не знаешь Алека, иначе не задал бы такого вопроса. Слушай, да будь Алек педиком, и то бы он не сделал бы ничего подобного, неужто не ясно?

– Нет, неясно. Разве только потому, что он такой из себя джентльмен. Ты это хочешь сказать?

– Да нет, вовсе нет, – принялся яростно отрицать О'Мара. – Я хочу сказать: даже если б Алек Уокер помирал с голоду, и то б он не опустился до того, чтобы попросить кусок хлеба.

– Тогда дело в гордости, – уточнил я.

– Да нет, не в гордости. А в комплексе мученика. Алек – он обожает страдать.

– Ну что ж, повезло ему, что он не бедняк.

– Ну уж он-то никогда не обеднеет, – обронил О'Мара. – Скорее, воровать начнет.

– Ну, это сильно сказано. Из чего ты это заключаешь?

О'Мара поколебался.

– Я тебе кое-что расскажу, – вдруг выпалил он, – только знаешь: чтоб ни одной душе... Однажды Алек Уокер спер у собственного брата кругленькую сумму; и брат, тот еще сукин сын, вознамерился отдать его под суд. Но сестра – не помню, как ее звали, хоть убей, – так вот, сестра возместила пропажу. Откуда она добыла деньги, понятия не имею. Но сумма была немаленькая.

Я молчал. Меня положили на обе лопатки.

– А знаешь, кто втянул его в эту катавасию? – продолжал О’Мара.

Я непонимающе уставился на него.

– Этот крысенок Вудрафф.

– Да ты что?

– Я ведь всегда говорил, что Вудрафф – дрянь, каких мало, разве не так?

– Так-то так, но все-таки... А ты, стало быть, имеешь в виду: Алек просадил все эти деньги на малыша Билла Вудраффа?

– Вот именно. Слушай, помнишь ту маленькую сучку, по которой Вудрафф так сходил с ума? Он еще потом вроде бы женился на ней?

– Иду Верлен?

– Вот-вот. *Иду*. Господи, это было: Ида то, Ида се, и так без конца. Прекрасно помню: мы ведь тогда вместе работали. Помнишь, Алек и Вудрафф ни с того ни с сего откатали в Европу?

– Хочешь сказать: Алек приревновал его к этой девушке?

– Господи, да нет же, нет! Как мог Алек унизиться до ревности к этой ничтожной шлюшке? Просто ему хотелось спасти Вудраффа от него самого. Алек понимал, что она – полное ничтожество, и пытался положить конец этой связи. И этот ненасытный ублюдок Вудрафф – не мне рассказывать тебе, что он за фрукт! – заставил Алека прокатить себя по всей Европе. Просто чтобы его мелкое сердчишко не разбилось от боли.

– Ну-ну, – подначил я его, – продолжай, это становится интересным.

– В общем, добрались они до Монте-Карло. Билл начал играть – разумеется, на деньги Алека. Алек и бровью не повел. Так длилось неделями, причем Вудрафф неизменно проигрывал. Коротенький этот загул влетел Алеку в целое состояние. Он был в долгу как в шелку. А малыш Вудрафф – тому, понимаешь ли, еще рановато было возвращаться домой. Ему необходимо было взглянуть на зимнюю резиденцию румынской королевы, потом поглазеть на египетские пирамиды, а потом покататься на лыжах в Шамони. Говорю тебе, Генри, стоит мне только произнести имя этого гаденыша, как вся кровь закипает. Ты считаешь, что по части обираловки с бабами никто не сравнится. Так вот, любой шлюхе, с которой я имел дело, Вудрафф даст сто очков форы. С него станется и медяки с глаз покойника стырить да в карман спрятать.

– Что ж, и, несмотря на все это, Ида заполучила его себе, – подвел итог я.

– Да, и, как я слышал, оттрахала его в хвост и в гриву.

Я рассмеялся. И вдруг разом смолк. Странная мысль пронзила мой мозг.

– Тед, а знаешь, что мне только что пришло в голову? Сдается мне, что Вудрафф – педик.

– Тебе *сдается*? А я *знаю*, наверняка знаю, что он педик. Само-то по себе мне это без разницы, но он такой сквалыга, такой кровосос...

– Черт меня побери, – пробурчал я. – Тогда понятно, отчего у него не заладилось с Идой. Н-да... Подумать только: столько лет его знал и даже не заподозрил... Значит, ты уверен, что Алек на этом не заиклен?

– Уверен, что нет, – повторил О’Мара. – Да он от женщин обалдевает. Дрожит как осиновый лист, едва одна из них мимо пройдет.

– Ну и ну.

– Я тебе говорил уже: есть в Алеке что-то от аскета. Он ведь в свое время готовился принять церковный сан. И неожиданно-негаданно влюбился в девчонку, которая прокрутила ему динамо. А потом так и не смог прийти в себя... Вот что еще могу тебе рассказать, чего ты тоже не подозревал. Слушай внимательно! Тебе ведь никогда не доводилось видеть, чтоб Алек вышел из себя, правда? И в голове не укладывалось, что он может разъяриться,

так ведь? Такой из себя мягкий, любезный, светский, обходительный... Словно в стальной броне. Всегда подтянутый, всегда в отличной форме. Так вот, как-то раз я видел, как он чуть не весь бар уложил на пол – один, без посторонней помощи. Ну, скажу тебе, это было зрелище! Потом, конечно, нам пришлось в темпе уносить ноги. И что же – едва мы оказались в безопасности, как он стал таким же хладнокровным и собранным, как обычно. Помню, попросил меня смахнуть с его пиджака пыль, пока причесывается. На нем и царапинки не было. Заехали в гостиницу, он пригладил волосы, помыл руки. А потом сказал, что недурно было бы перекусить. Двинули мы, по-моему, к Рейзенвеберу. Выглядел Алек безукоризненно, как всегда, и говорил спокойным, ровным голосом, будто мы только что из театра вышли. И кстати, это не было рисовкой: он был на самом деле невозмутим, уверен в себе.

Помню даже, что мы ели, – такой ужин мог заказать только Алек. По-моему, несколько часов из-за стола не вставали. Ему хотелось поговорить. Он все внушал мне, что такого второго человека – я хочу сказать, до того верного христианскому духу, до того близкого самому Иисусу, – как святой Франциск, на всем свете не сыщешь. Намекнул, что во время оно и сам втайне мечтал стать в чем-то похожим на святого Франциска. Знаешь, я ведь частенько доставал Алека за его нерушимое благочестие. Даже обзывал его грязным католиком – в лицо, не за глаза. Но что б я ни говорил, мне никогда не удавалось пронять его по-настоящему. Бывало, он только улыбнется мне такой рассеянной, снисходительной улыбкой, и я уж и не знаю, куда от стыда глаза прятать.

– Никогда не мог я разгадать эту улыбку, – перебил я. – Мне всегда от нее не по себе бывало. Так я и не понял: то ли она от его высокомерия, то ли от наивности.

– Вот-вот! – подхватил О'Мара. – В известном смысле он и был высокомерен – не по отношению к нам, юнцам, а к большинству окружающих. А с другой стороны, он всегда чувствовал себя каким-то... неполноценным, что ли. Наверное, сквозь его христианское уничижение просвечивала гордыня. А может, изящество? Помнишь, как он одевался? А как говорил: на каком безупречном английском, с мягким ирландским прононсом... нет, этот малый был не промах! А уж когда умолкал... Что тут скажешь: если что-то и могло сбить меня с панталыку, так это то, как он замыкался в себе, словно улитка в раковине. У меня только мурашки по коже бежали. Ты, верно, заметил: он всегда умолкал, когда собеседник готов был выйти из себя. Умолкал в критический момент, как бы оставляя тебя в подвешенном состоянии. Как бы приглашая: ну-ну, давай ярись в свое удовольствие. Понимаешь, о чем я? В такие минуты я и распознавал в нем монаха.

– И все-таки, – заговорил я, обрывая его монолог, – не понимаю, что побудило его связаться с таким подонком, как Вудрафф.

– Это-то как раз просто, – самоуверенно возразил О'Мара. – Ему хотелось обратить гаденыша в собственную веру. Алеку необходимо было поупражняться на таком человеческом отребье, как Вудрафф. Для него это была проба духовной мощи. Не думай, что он не знал, каков на самом деле Вудрафф. Нет, он его насквозь видел. Как раз Вудрафф-то, с его мелочностью и себялюбием, и стал мишенью Алекова альтруизма. Как и подобает мученику, он тратил и тратил себя без остатка... Вудрафф ведь так и не узнал, что ради него Алек пошел на кражу. Да и не поверил бы, если б ему сказали, крысенок. Да, я не говорил тебе, что недавно налетел на Вудраффа? На Бродвее.

– Ну и что он теперь поделывает?

– Должно быть, сутенерствует, – проронил О'Мара.

– Зато вот точно знаю, чем занимается Ида. Теперь она у нас артистка. Сам видел афиши с ее именем во всю длину. Надо будет сходить на нее посмотреть, а?

– Без меня, – отрезал О’Мара. – Подожду, пока в аду не встречу... Слушай, да ну ее к дьяволу, эту сучку, и Вудраффа в придачу! Надо ж, черт меня дернул столько времени на них потратить! Скажи-ка лучше, ты об О’Рурке что-нибудь знаешь?

– Об О’Рурке? Да нет. Странно, что ты о нем спросил. Нет. Признаться, я о нем и не вспомнил с тех пор, как работу бросил...

– Стыдно тебе должно быть, Генри. О’Рурк – король. Не понимаю: такого человека – и выкинуть из головы. Он же тебе вроде как отец был, да и мне, правду сказать. Отчего ж мне не поинтересоваться, как он живет-поживает?

– Можно как-нибудь вечером сходить его проведать. Не на другой планете живем.

– Так давай не откладывать, – отозвался О’Мара. – Для меня просто побыть с ним рядом – что душу очистить.

– Станный ты парень, – сказал я. – Одних терпеть не можешь, на других молиться готов. Будто все время собственного отца ищешь.

– В точку попал: *именно это я и делаю*. Тот сукин сын, что себя моим отцом называет, – как я к нему отношусь, ты знаешь. Как ты думаешь, чего он боится, этот кусок дерьма? Что в один прекрасный день я свою сестру трахну. Слишком уж мы дружны, на его взгляд. И этот-то подонок двадцать лет назад упрятал меня в сиротский приют. Вот еще один ублюдок, на пару с Вудраффом, кому я с наслаждением оторвал бы сам знаешь что. Правда, у него и отрывать-то нечего. Суется всюду, работая под русского, извращенец чертов из Галиции. Да будь у меня предок типа О’Рурка, из меня наверняка вышло бы что-нибудь путное. А так – не знаю, для чего скроен, на что годен. Плыву себе по течению. С Церковью воюю... Да, между прочим, сестрице моей я ведь чуть не вставил. Наверно, старый хрен меня на эту мысль и навел. Какого черта, что в этом странного: двенадцать лет ее не видел. И какая она мне теперь сестра? Всего-то смотрящаяся женщина во цвете лет, очень соблазнительная и очень одинокая. Не знаю уж, какая сила меня удержала. Кстати, надо бы ее проведать. Говорят, не так давно замуж вышла. Может, и не худо бы нам с ней, ну, как это говорят, перепихнуться... Господи, Алек пришел бы в ужас, услышь он меня сейчас.

Так мы и перескакивали с одной темы на другую, пока – ровно в десять минут второго, как я и предсказывал, – не возникла Мона. Держа в одной руке сверток с дорогой снедью, в другой – бутылку бенедиктина. Похоже, добрые самаритяне по-прежнему не обходили ее вниманием. На сей раз в этой роли выступил – кто бы вы думали? – удалившийся на покой пекарь из Уихокена. К тому же человек незаурядной культуры. Хотите – верьте, хотите – нет, но на всех ее обожателях, будь то почтенные лесорубы, боксеры, кожевники или ушедшие на покой уихокенские хлебопеки, лежал неизгладимый отпечаток культуры.

Беседе нашей пришел конец, как только Мона появилась на пороге. О’Мара взял себе за правило глуповато ухмыляться, едва она принималась рассказывать о новейших своих приключениях; Мону это откровенно злило. Но раньше обстояло еще хуже. Поначалу он ее без конца перебивал, задавая оскорбительно прямые вопросы типа: «Так ты хочешь сказать: он даже не попытался тебя облапить?» И так далее в том же духе – вещи, которые у нас в доме были строго табуированы. Постепенно О’Мара приучился держать язык за зубами. Лишь изредка отпуская какую-нибудь двусмысленную шуточку или слегка завуалированный намек, до которых Мона не снисходила. Временами, впрочем, рассказы ее бывали столь неправдоподобны, что мы оба прыскали со смеху. Забавнее всего было то, что и она не отказывалась от своей партии в общем хоре, хохоча с нами до упаду. А еще страннее – то, что, вдосталь насмеявшись, она как ни в чем не бывало возобновляла повествование с того места, на котором ее перебили.

Случалось, она призывала меня в свидетели, предлагая подтвердить какую-нибудь из невероятных своих фантазий, что, к вящему удивлению О’Мары, я делал не моргнув глазом. Я даже расцветчивал ее выдумки весьма эффектными деталями собственного сочине-

ния. Слыша их, она серьезно кивала, будто речь шла о чем-то неоспоримом, изначально не подлежащем сомнению, либо, напротив, о вымысле, многократно повторенном и совместно нами отрепетированном.

В мире кажущегося и мнимого она чувствовала себя как рыба в воде. Она не только верила в собственные рассказы: она вела себя так, будто самый факт изложения служит дополнительным свидетельством их достоверности. Само собой разумеется, все вокруг в то же время убеждались в обратном. Повторяю, все вокруг. Последнее лишь укрепляло ее собственную убежденность в том, что линия поведения выбрана верно. Логика Моны мало в чем совпадала с Евклидовой.

Я тут говорил о смехе. В сущности, ей был знаком до тонкостей лишь один его вид – истерический. Ибо, точности ради замечу, чувство юмора у нее почти отсутствовало. Оно пробуждалось только в присутствии людей, которые сами были начисто лишены такового. В обществе Нахума Юда, юмориста до мозга костей, она улыбалась. Улыбалась доброжелательно, снисходительно, ободряюще; так улыбаются умственно отсталым детям. Улыбка Моны, надо признать, напрочь отличалась от ее же смеха. Ее улыбка была теплой и неподдельной. А вот смеялась она совсем иначе – резко, пронзительно, устрашающе. Ее смех мог не на шутку обескуражить. Я познакомился с нею задолго до того, как услышал этот смех. Меж ее смехом и ее слезами почти не было разницы. В театре ее обучили технике «сценического» смеха. Он был ужасен. Меня до костей пробирало.

– Знаешь, кого вы двое мне иной раз напоминаете? – спросил О’Мара с тихим ржанием. – Пару конфедератов. Все, чего вам недостает, – это артиллерийской дуэли.

– Зато здесь тепло и уютно, не правда ли? – пожал плечами я.

– Слушай, – вновь заговорил О’Мара с самым серьезным видом, – если б здесь можно было застрять на год или два, я бы сказал: слава тебе господи. Уж мне ль не понимать, что мы тут как сыр в масле катаемся! Да у меня много лет не было такого расслабона! Но самое занятное – мне тут все время кажется, что я от кого-то прячусь. Будто совершил преступление и не помню какое. Ничуть не удивлюсь, если в один прекрасный день сюда нагрянет полиция.

И тут мы все трое, не сговариваясь, прыснули. Полиция! Ей-ей, смешнее ничего не придумаешь.

– Делил я как-то комнату с одним парнем, – затынул О’Мара очередную из своих бесконечных историй, – и он был совсем чокнутый. Я узнал это, только когда по его душу заявились из сумасшедшего дома. Богом клянусь, на вид – нормальнейший из людей: говорит нормально, делает все нормально. Пожалуй, только это и обращало на себя внимание: слишком уж он был нормальный. Я тогда без гроша сидел и в таком раздрае, что даже на поиски работы сил не было. А он работал водителем – в трамвайном парке на Рейд-авеню. В перемену приходил домой, отсыпался. Бывало, принесет с собой кулек с пирожками и, только разденется, поставит на плиту кофейник. Говорил мало. По большей части сядет у окна и знай шлифует себе ногти. Иногда примет душ, разотрется как следует. В хорошем настроении предложит сыграть в пинокль. Мы играли по мелочи, и он не мешал мне выигрывать, хотя порой и замечал, что я жульничаю. Я никогда не расспрашивал, кто он, что он, а сам он не рассказывал. С каждым днем жизнь будто заново начиналась: было холодно, он говорил о том, как холодно; тепло было – о том, как тепло. Никогда ни на что не жаловался, даже когда ему зарплату урезали. Тут бы мне и насторожиться, да я как-то не обратил внимания. Он был такой добрый, участливый, тактичный, непритязательный; пожалуй, худшее, что я мог о нем сказать, – занудноват был. Ну а мог ли я на него дуться, раз он так хорошо со мной обходился? Ни разу не сказал: пора тебе, дескать, оторвать зад от койки и начать шевелить руками и мозгами. Нет, все, что ему хотелось знать, – это хорошо ли мне, а если нет, то почему. Я понял: он во мне нуждается – наверное, жить один не может; но и тут

ничего не заподозрил. В конце концов, куча людей не переносит одиночества. Как бы то ни было – не знаю уж, зачем я вам все это рассказываю, – как бы то ни было, однажды, как я уже говорил, раздается стук в дверь, и снаружи оказывается человек из сумасшедшего дома. Тоже, замечу, на вид вполне здравомыслящий. Вошел этак спокойненько, поглядел по сторонам, сел и начал говорить с моим соседом. Легко так, непринужденно, без нажима: «Ну что, Икинс, будем собираться?» Икинс, так этого парня звали, отвечает: «Ну конечно», тоже легко, непринужденно, без нажима. А пару минут спустя выходит из комнаты, сказав, что ему надо зайти в ванную да вещи собрать. Служащий, или кто там он был, ничего такого не заподозрил и позволил ему выйти. А потом принялся со мной разговаривать. (Собственно, только сейчас он со мной и заговорил.) До меня не сразу дошло, что он и меня за чокнутого держит. Смекнул, лишь когда он стал задавать мне эдакие странные, непривычные вопросы: «Вам здесь нравится? А кормит он вас хорошо? Вы уверены, что вам тут удобно?» И так далее в том же роде. Я настолько не уловил подвоха, что вполне вошел в роль, которую будто для меня и придумали. А Икинс – тот уже проторчал в ванной добрых четверть часа. Я уж начал ерзать на месте, думая о том, как буду доказывать, что никакой я не псих, приди служащему охота в придачу и меня с собой прихватить. Вдруг дверь в ванную мягко отворяется. Поднимаю глаза и вижу: стоит там Икинс в чем мать родила, с наголо выбритым черепом, а на шею повесил шланг от душа. И ухмыляется – так, как я никогда прежде не видывал. Ну, я враз и похолодел.

– Готов, сэр, – рапортует он по-военному.

– Икинс, – говорит служащий, – что это тебе вздумалось так разодеться?

– Но я не одет, – мягко возражает Икинс.

– Вот это я и хотел сказать, – невозмутимо отвечает служащий. – Так что поди оденься.

Будь паинькой.

Икинс не шевельнулся, ни один мускул не дрогнул.

– Какой костюм вы хотите, чтоб я надел? – спрашивает.

– Тот, что у тебя с собой был, – отвечает служащий, начиная ерепениться.

– Но он весь рваный, – жалобно говорит Икинс и опять ступает вглубь ванной. А через секунду возникает, держа в руках костюм. Весь исполосованный.

– Ничего страшного, – отвечает служащий, делая вид, что ничего из ряда вон выходящего не происходит, – я уверен, твой друг одолжит тебе костюм.

И оборачивается ко мне. Я объясняю, что мой единственный костюм – тот, что на мне.

– Подойдет, – талдычит служащий.

– Что?! – кричу я дурным голосом. – А я – что я буду носить?

– Фиговый листок, – отвечает тот, – и смотри, чтоб он на тебе не скукожился!

В этот момент по оконному переплету кто-то постучал.

– Держу пари, полиция! – закричал О'Мара.

Я подошел к окну и отдернул занавеску. За окном стоял Осецки, глуповато ухмыляясь и нелепо шевеля кончиками пальцев.

– Это Осецки, – сказал я, направляясь к двери. – Судя по всему, под градусом. А где же ваши друзья-приятели? – осведомился я, пожимая ему руку.

– Разбежались, – грустно констатировал он. – Полагаю, не выдержали нашествия блох... К вам можно? – Он остановился в холле, как бы не испытывая особой уверенности в том, что его примут с распростертыми объятиями.

– Входи! – закричал О'Мара изнутри.

– Я вам помешал? – Он смотрел на Мону, не догадываясь, кем она мне приходится.

– Это моя жена Мона. Мона, это наш новый друг Осецки. У него сейчас кое-какие проблемы. Не возражаешь, если он у нас немного побудет?

Мона тут же протянула ему бокал бенедиктина и ломтик кекса.

– Что это такое? – спросил он, пригнувшись к густой жидкости. – Откуда это у вас? – Он переводил взгляд с одного на другого, словно присутствующие таили от него какой-то страшный секрет.

– Как вы себя чувствуете? – спросил я.

– В данный момент хорошо, – ответил он. – Возможно, даже слишком. Чувствуете? – Он дынул мне в лицо, ухмыляясь еще шире и окончательно уподобляясь рододендрону в цвету.

– А как блохи поживают? – осведомился О’Мара светским тоном.

Мона сначала хихикнула, затем громко рассмеялась.

– Дело в том, что... – начал объяснять я.

– Можете ничего не скрывать, – успокоил меня Осецки. – Это уже не секрет. Скоро доберемся до сути. – Он поднялся. – Извините, не могу это пить. Слишком пахнет терпентином. А кофе у вас не найдется?

– Разумеется, – ответила Мона. – Может быть, сделать вам сэндвич?

– Нет, только чашку черного кофе... – Краснея, он опустил голову. – Я, знаете ли, только что хлебнул с друзьями. Боюсь, я им поднадоел. И я их не виню. Им в последние месяцы порядком досталось. Знаете, временами мне кажется, что я и впрямь сошел с катушек. – Он помолчал, изучая, какое впечатление произведет на нас его признание.

– Ну, не расстраивайтесь, – сказал я, – все мы немножко того. Вот О’Мара только что рассказывал нам про психа, с которым вместе жил. Сходите с катушек сколько вашей душе угодно, только мебель не ломайте.

– Да вы бы и сами свихнулись, – вновь заговорил Осецки, – если б эти твари всю ночь напролет сосали у вас кровь. И весь день тоже. – Он приподнял брючину – продемонстрировать оставленные тварями кровавые следы. Икры Осецки были сплошь испещрены царапинами и ссадинами. Мне вдруг стало чертовски жаль его. Зря я в тот раз поднял его на смех.

– Может, вам переехать в другую квартиру?.. – предложил я неуверенно.

– Не поможет, – буркнул он, обреченно глядя на пол. – Они от меня не отстанут, пока я не уволюсь – или не поймаю их с поличным.

– По-моему, ты собирался как-нибудь прийти к нам на обед вместе со своей девушкой, – напомнил О’Мара.

– Да, конечно, – подтвердил Осецки. – Просто в данный момент она занята.

– Занята чем? – не отставал О’Мара.

– Не знаю. Я приучил себя не задавать лишних вопросов. – Он еще раз во весь рот ухмыльнулся. Мне показалось, его зубы чуть зашатались. Во рту у него блеснуло несколько металлических обручей.

– Я к вам заскочил, – продолжал он, – увидев у вас свет. Знаете, мне что-то не хочется идти домой. – Очередная ухмылка. Читай: блохи, мол, так и этак. – Не возражаете, если я еще чуть-чуть посижу? У вас такой хороший дом. Светлый.

– А как же иначе? – съязвил О’Мара. – У нас тут все бархатом обито.

– Увы, не могу сказать того же о своем, – грустно вымолвил Осецкий. – Весь день чертить, а по ночам крутить пластинки – не слишком-то это весело.

– Ну, девушка-то у тебя есть? – не унимался О’Мара. – С ней и повеселиться можно. – И фыркнул.

Хорьковые глазки Осецки еще больше сузились. Он остро, почти враждебно вглядывался в О’Мару.

– Ты к чему клонишь? – спросил он неприязненно.

О’Мара добродушно улыбнулся и покачал головой. Не успел он открыть рот, как Осецки снова заговорил.

– С ней одна мука, – выдавил он из себя.

– Прошу вас, – вмешалась Мона, – нет никакой необходимости все нам рассказывать. Мне кажется, вам и так задали слишком много вопросов.

– Да я не против, пусть допрашивает. Просто интересно, что он прознал про мою девушку.

– Не знаю я ничего ровным счетом, – ответил О’Мара. – Просто ляпнул по глупости. Выкинь из головы!

– Не хочу я ничего выкидывать, – запротестовал Осецки. – По мне, лучше уж расстаться с этим грузом, чем в себе носить. – И умолк, опустив голову, не забывая, впрочем, уминать сэндвич. А спустя несколько секунд прикончил его, поднял голову, улыбнулся улыбкой херувима, встал и потянулся за пальто и шляпой. – В другой раз расскажу, – сказал он. – Уже поздно. – У самой двери, прощаясь, он еще раз ухмыльнулся и заметил: – Кстати, если окажетесь на мели, дайте мне знать. Немного всегда готов вам одолжить, если понадобится.

– Хочешь, домой тебя провожу? – вызвался О’Мара, не находя лучшего способа выразить признательность за эту неожиданную доброту.

– Спасибо, сейчас мне лучше побыть одному. Никогда не знаешь...

И Осецки затрусил по улице.

– Да, так чем кончилось с этим малым Икинсом, о котором ты нам рассказывал? – спросил я, когда за Осецки закрылась дверь.

– В другой раз расскажу, – пробурчал О’Мара, одаряя нас одной из неповторимых ухмылок Осецки.

– Нет в этой истории ни слова правды, – констатировала Мона, направляясь в ванную.

– Ты права, сестрица, – сказал О’Мара. – Я все выдумал.

– Брось, – не отставал я, – мне-то ты можешь рассказать.

– Ну ладно, – согласился он, – хочешь знать правду, потом не жалуйся. Итак, не было никакого Икинса – был мой брат. Он тогда скрывался от полиции. Помнишь, я тебе рассказывал, как мы вместе удрали из сиротского приюта? Так вот, с тех пор прошло десять лет – а может, и больше, – прежде чем мы встретились. Он двинул в Техас, где нанялся ковбоем на ранчо. Эх, хороший был парень. А потом с кем-то крепко повздорил – должно быть, пьян был – и по нечаянности пристукнул. – Он сделал глоток бенедиктина, затем продолжал: – В общем, все было как я рассказывал, только никакой он был не чокнутый. И явился за ним не служащий из сумасшедшего дома, а мужик из полиции. Ну, тут я наделал в штаны, доложу тебе. В общем, разделся я, как он велел, и отдал все свое тряпье брату. Тот был и шире меня, и ростом выше; словом, я знал, что ему ни в жизнь не влезть в этот костюм. Ну, сказано – сделано, пошел он в ванную одеваться. Я надеялся, что ему хватит ума вылезти через окно ванной наружу. Мне невдомек было, с чего это тот офицер не надел на него наручники; ну, подумал, у них в Техасе на этот счет свои правила. И тут меня осенило: вот выскочу сейчас в чем мать родила на улицу и завоплю благим матом: «Режут! Режут!» Добрался я только до лестницы: о ковер споткнулся. И вот уже оседлал меня этот детина, пасть рукой зажал и обратно в комнату тащит.

– Ну и прыть у вас, а, мистер? – спрашивает. И этак легонько врезает мне кулаком по челюсти. – А брат ваш, если и вылезет из окна, далеко не уйдет. У меня снаружи люди стоят, его ждут.

И в этот момент выходит мой брат из ванной, легко и непринужденно, как всегда. А вид у него в этом костюме – что у клоуна в цирке, да еще голова обрита.

– Брось, Тед, – говорит, – они меня заарканили.

– А что с моим тряпьем будет? – хнычу я.

– Отошлю тебе почтой, как на место прибудем, – отвечает. Опускает руку в карман и достает несколько мятых бумажек. – Вот, поможет тебе продержаться, – говорит. – Что ж, рад был с тобой повидаться. Ну, бывай здоров.

И его увели.

– И что было дальше?

– Дали ему пожизненное.

– Что ты говоришь!

– Правда-правда. И за это тоже можешь сказать спасибо сукину сыну нашему отчиму.

Не отправь он нас тогда в сиротский приют, ничего бы этого не случилось.

– Господи боже мой, нельзя же все на свете валить на этот злосчастный приют.

– Еще как можно! Все, все плохое, что со мной приключилось, берет начало оттуда.

– Но, черт тебя возьми, не так уж плохо у тебя все сложилось. Посмотри вокруг: сплошь и рядом людям приходилось и потяжелее. И все-таки они выныривали. Так что кончай валить на отчима все свои грехи и неудачи. Окочурится он, что тогда будешь делать?

– И когда окочурится, клясть не перестану. Он так передо мной виноват, что я его и на том свете достану.

– Ладно, а как насчет твоей матери? Ведь и она приложила к этому руку, разве нет? А на нее ты зла не держишь.

– Она у меня полоумная, – сказал О’Мара горько. – Нет, ее мне просто жаль. Ей сказали – она сделала. Нет, к ней у меня нет ненависти. Простодушная дуреха, вот она кто. Слушай, Генри, – продолжал он, резко меняя тактику, – тебе этого не понять. Ты в сорочке родился. По тебе жизнь не прошла колесом. Ты везучий. И у тебя способности. А кто я? Изгой. Отвергнутый всем миром. Из меня, может, тоже получился бы писатель, сложись жизнь иначе. А так я даже пишу с ошибками.

– Зато считать наверняка умеешь.

– Нет уж, не пытайся меня успокоить. Конченный я человек. Все от меня стонут. Ты единственный, к кому я всегда хорошо относился, ты хоть понимаешь это?

– Оставь, – сказал я, – ты становишься сентиментальным. Лучше выпей еще!

– Я ложусь, – объявил он. – Займусь снолечением.

– Снолечением?

– Ну да, разве ты никогда этого не делал – *не лечился сном*? Закрываешь глаза и представляешь себе все таким, каким хотел бы увидеть. Потом засыпаешь, и тебе снится, что все так и есть. Утром чувствуешь себя не так погано... тыщу раз такое проделывал. Научился в сиротском приюте.

– *Сиротском приюте!* Забудешь ты о нем когда-нибудь? С ним покончено... это было сто лет назад. Неужели не можешь уразуметь этого своей башкой?

– Ты хочешь сказать, никогда не прекращалось.

Мы замолчали. Потом О’Мара спокойно разделся и юркнул под одеяло. Я выключил верхний свет и зажег свечу. Стоя у стола и раздумывая над тем, что произошло между нами, я услышал тихое:

– *Послушай...*

– В чем дело? – Одно мгновение я думал, что он сейчас разрыдается.

– Ты и половины всего не знаешь, Генри. Самым ужасным было ждать, когда мать придет навестить меня. Проходили недели, месяцы, годы. А она не появлялась. В кои веки придет письмо или посылочка. Всегда одни обещания. Приедет, мол, на Рождество, День благодарения или еще какой праздник. Но так ни разу не приехала. Не забывай, мне ведь было всего три года, когда я туда попал. Мне нужна была материнская нежность. Монахини были добры, ничего не могу сказать. Некоторые так очень. Но одно дело – целовать монахинь, а другое – собственную мать. Я все время ломал голову, придумывая, как бы сбежать. Только об одном мечтал: оказаться дома и обнять мамочку. Знаешь, она у меня была хорошей, только слабовольной. Как все ирландцы, как я. Ничего ее не волновало. Как нажито, так и прожито. Но я ее любил. И чем дальше, тем любил все больше. Когда я сбежал, я был

как дикий жеребенок. Инстинкт влек меня домой, но я тогда подумал: а если они отошлют меня обратно в приют? И почесал не останавливаясь, покуда не добрался до Виргинии, где познакомился с доктором Маккини... есть такой орнитолог.

– Знаешь, Тед, – сказал я, – лучше займись снолечением. Извини, если кажусь не слишком чутким. Я, наверно, чувствовал бы то же самое, окажись на твоём месте. Черт возьми, завтра будет новый день. Думай о том, в какую передрыгу попал Осецки!

– Это я и делаю. *Он тоже сирота, одинокий.* А ещё хочет одолжить нам денег! Господи, как ему *должно быть* погано!

Я лег спать с твердым намерением выбить из О'Мары все мысли о чертовом сиротском приюте. Однако всю ночь я гонял как сумасшедший на своем старом велосипеде или играл на рояле. Вообще-то, иногда я слезал с велосипеда и играл какую-нибудь пьеску прямо посреди улицы. Во сне совсем не трудно ехать на велосипеде, имея при себе рояль, – это только наяву подобные вещи затруднительны. Самые восхитительные ощущения я испытывал в Бедфорд-Рест, куда переносился во сне. Это было место на полпути от Проспект-парка до Кони-Айленда по знаменитой дорожке для велосипедистов, где все, ехавшие в Кони-Айленд и обратно, останавливались на короткий отдых. Здесь, на площадке, окруженной деревьями и шпалерами выющихся растений, мы и располагались: демонстрировали свои велосипеды, хвастались мускулатурой, растирали друг друга. Велосипеды стояли, прислоненные к деревьям и ограде, – красавцы, сверкающие хромом, лоснящиеся от смазки. Папа Браун, как мы звали его, был за арбитра. Чуть ли не вдвое старше, он не уступал лучшим из нас. Всегда в толстом черном свитере и вязаной шапочке. Лицо худое, в резких морщинах и такое обветренное и загорелое, что казалось черным. Про себя я называл его «Черным всадником». Он работал механиком, и велогонки были его страстью. Все мы любили этого простого, не особо речистого человека. Это он поддал мне мысль пойти в милицию, чтобы иметь возможность гонять в их учебном манеже. По субботам и воскресеньям я неизменно встречал Папу на велосипедной дорожке. В гонках он был мне как отец родной.

Думаю, самым восхитительным в тех сборищах на площадке была страсть к велосипедам, объединявшая нас. Я не помню, чтобы мы с теми ребятами говорили о чем-то, кроме велосипедов. Мы могли есть, пить и спать в седле. Много раз в неподходящее время дня или ночи я встречал одинокого велосипедиста, которому, как мне, удавалось улучшить часок-другой, чтобы пролететь по гладкой, посыпанной песком дорожке. Иногда мы обгоняли какого-нибудь всадника. (У конных была своя отдельная дорожка, параллельная нашей.) Эти видения из иного мира не существовали для нас, как и придурки на автомобилях. Что до мотоциклистов, то их мы считали просто *non compos mentis*⁵¹.

Как я говорил, я вновь переживал все это во сне. С самого начала и вплоть до тех не менее восхитительных моментов в конце катания, когда, как заправский гонщик, переворачивал велик вверх колесами, обтирал его, смазывал. Каждая спица должна была сверкать чистотой; на цепь нужно было положить смазку, закапать масло во втулки. Если колеса выписывали восьмерку, их следовало выровнять. Тогда машина была в любой момент готова к поездке. Возился с велосипедом я всегда во дворе, прямо под нашим окном. При этом приходилось стелить газеты, чтобы успокоить мать, которая ругалась, обнаружив масляные пятна на каменных плитах.

Во сне я изящно и легко качу рядом с Папой Брауном. У нас была привычка мило или две ехать медленно, чтобы можно было поболтать и сберечь дыхание для последующего бешеного рывка. Папа рассказывает о работе, на которую хочет меня устроить. Я стану механиком. Он обещает научить меня всему, что нужно. Я радуюсь, потому что единственный инструмент, которым пока умею пользоваться, – это велосипедный ключ. Папа говорит, что

⁵¹ Не в своем уме (лат.).

в последнее время присматривался ко мне и решил, что я смысленный парень. Его беспокоит, что я постоянно болтаюсь без дела. Я пытаюсь объяснить: это хорошо, что я не работаю, можно чаще кататься на велосипеде, но он отвергает мой довод как несостоятельный. Он полон решимости сделать из меня первоклассного механика. Это лучше, чем работать в бойлерной, убеждает он. Я не имею ни малейшего понятия, что делают в бойлерной. «Ты должен быть в форме к гонкам в следующем месяце, – предупреждает он. – Пей больше жидкости – сколько влезет». Я узнаю, что в последнее время его беспокоит сердце. Доктор считает, что следует на время оставить велосипед. «Я скорей умру, чем послушаюсь его», – говорит Папа Браун. Мы болтаем о всяких пустяках, о каких только и можно болтать во время велосипедной прогулки. Неугомонный ветерок; начало листопада. Под колесами шуршит бурая, золотая, багряная листва. Мы уже хорошо разогрелись, размялись. Неожиданно Папа резко жмет на педали и пристраивается в хвост велосипедисту, мчащемуся мимо нас на бешеной скорости. Обернувшись на ходу, кричит мне: «Это Джо Фолджер!» Я пускаюсь вдогонку. *Джо Фолджер!* Он же из тех, кто участвует в шестидневных гонках. Интересно, думаю, какую он сейчас задаст скорость? К моему удивлению, Папа скоро вырывается вперед, увлекая за собой меня, и Джо Фолджер пристраивается за мной. Сердце неистово бьется. Три великих гонщика: Генри Вэл Миллер, Папа Браун и Джо Фолджер. Где Эдди Рут и Фрэнк Крамер? Где Оскар Эгг, доблестный швейцарский чемпион? Подайте-ка их сюда! Пригнувшись к рулю, не чувствуя ног, несусь я – только сердце грохочет в ушах. Ноги и руки, в сложном взаимодействии, работают четко и слаженно, как часовой механизм.

Внезапно мы вылетаем к океану. Страшная жара. Мы дышим часто, как собаки, но в то же время свежи, как маргаритки. Великие ветераны гонок. Я слезаю с велосипеда, и Папа знакомит меня с великим Джо Фолджером. «Лихой паренек, – говорит Джо Фолджер, оглядывая меня. – Готовится к большой гонке?» Неожиданно он наклоняется, ощупывает мои бедра и икры, мнет предплечья и бицепсы. «Подъемы ему нипочем будут – прекрасные данные». Я до того взволнован, что краснею, как школьник. Теперь бы встретить как-нибудь утром Фрэнка Крамера; то-то удивлю его.

Мы неторопливо идем; каждый ведет свой велосипед одной рукой. Как ровно он катится, послушный уверенной руке! Потом усаживаемся выпить пива. Я неожиданно начинаю играть на рояле, просто чтобы доставить удовольствие Джо Фолджеру. Оказывается, Джо Фолджер сентиментален; я ломаю голову, что бы такое сыграть, что ему наверняка понравится. В то время как мои пальцы нежно касаются клавиш, мы переносимся, как бывает только во сне, на стадион где-то в Нью-Джерси. Тут же расположился на зиму цирк. Не успеваем мы опомниться, как Джо Фолджер принимается крутить на велосипеде мертвую петлю. Зрелище не для слабонервных, особенно когда сидишь так близко к вертикальному треку. Тут же расхаживают клоуны, одетые и раскрашенные, как им полагается; одни играют на губных гармошках, другие прыгают через скакалку или отрабатывают падение.

Вскоре вся труппа собирается вокруг нас, наши велосипеды отставляют в сторону и принимаются проделывать фокусы а-ля Джо Джексон. Разыгрывая, конечно, при этом пантомиму. Я чуть не плачу, потому что мне никогда не собрать велосипед – на такое множество частей они разделили его. «Не тужи, малыш, – говорит великий Джо Фолджер, – я отдам тебе свой. На нем ты выиграешь все гонки!»

Каким образом там оказался Хайми, этого я не помню, но он вдруг вырастает передо мной, и вид у него ужасно подавленный. Он хочет сообщить, что у нас забастовка. Я должен вернуться в контору. Курьеры собираются завладеть всеми нью-йоркскими такси, чтобы на них доставлять телеграммы. Я прошу Папу Брауна и Джо Фолджера извинить меня за то, что так бесцеремонно покидаю их, и прыгаю в поджидающую машину. Пока мы едем в Голландском туннеле, я засыпаю, а когда открываю глаза, вновь вижу себя на велосипедной дорожке. Сбоку от меня Хайми – крутит педали крохотного велосипедика. Он похож на тол-

стяжка с рекламы покрывающих «Мишлен». Сжавшись в седле, он едва поспевает за мной. Мне ничего не стоит схватить его за шкуру и поднять вместе с велосипедом и так ехать, держа его на вытянутой руке. Теперь его колеса крутятся в воздухе. Он ужасно доволен. Хочет гамбургер и молочный коктейль с солодом. Легко сказать. Проезжая мимо деревянного помоста на пляже, хватаю гамбургер и коктейль, другой рукой кидаю монетку продавцу. Мы едем по пляжу – гонка с препятствиями, – выскакиваем на деревянный настил и словно взмываем в синеву. У Хайми вид малость ошарашенный, но не испуганный. Только ошарашенный.

– Не забудь утром отослать путевые листы, – напоминаю я.

– Осторожней, мистер М., – умоляет он, – в прошлый раз мы чуть не въехали в океан.

И тут на кого, вы думаете, мы натываемся? На моего старого приятеля Стасю, пьяного в дым. Приехал на побывку. Ноги колесом, как положено кавалеристу.

– Это что за огрызок с тобой? – угрюмо интересуется он.

Как это похоже на Стасю – с ходу начинать браниться. Вечно его приходится сперва успокаивать, а уж потом разговаривать.

– Вечером уезжаю в Чаттанугу, – говорит Стасю. – Надо возвращаться в казармы. – И машет на прощанье.

– Это ваш друг, мистер М.? – с невинным видом спрашивает Хайми.

– Он-то? Да это просто чокнутый поляк, – отвечаю.

– Не нравятся мне эти польские иммигранты, мистер М. Пугают они меня.

– Что ты хочешь сказать? Мы в Соединенных Штатах, не забывай!

– Так-то оно так, – говорит Хайми. – Да только поляк везде поляк. Нельзя им доверять. – И он начинает выбивать зубами дробь. – Пора мне домой, – добавляет он несчастным голосом, – жена будет беспокоиться. Вы не торопитесь?

– Так и быть. Тогда поедem на метро. Это будет немного быстрее.

– Только не для *вас*, мистер М.! – говорит Хайми с дрожащей ухмылкой.

– Хорошо сказано, малыш. Я чемпион, это верно. Посмотри на мой рывок...

И с этими словами я рванул как ракета, а Хайми остался стоять, воздев руки и вопя, чтобы я вернулся.

Потом, помню, я, не слезая с седла, руковожу потоком такси. На мне свитер в яркую полоску, в руке мегафон, и я управляю движением. Город словно исчез, растворился в тумане. Еду как сквозь облако. С верхнего этажа здания «Американ тел энд тел» президент с вице-президентом шлют послания; в воздухе парят хвосты телеграфных лент. Словно опять Линдберг⁵² возвращается домой. Легкости, с которой я объезжаю такси, проскакиваю между ними, обгоняю, я обязан старому велику Джо Фолджера. Этот парень умел управляться с велосипедом. Тренировка? Это самая лучшая тренировка, какая только может быть. Сам Фрэнк Крамер не смог бы выдать такое.

Наилучшая часть сна – возвращение в Бедфорд-Рест. Все ребята снова там, кто на чем, велосипеды вычищены и сияют, седла подогнаны, а у самих важный вид – задирают носы, словно ловят, откуда ветер. Как хорошо опять оказаться с ними, трогать их мускулы, осматривать их велосипеды. Листва стала гуще, и нет той жары. Папа собирает их вокруг себя, обещает на сей раз погонять как следует...

Когда я появился вечером дома – это все тот же вечер, не важно, сколько времени прошло, – мать поджидала меня.

⁵² Линдберг, Чарльз Огастес (1902–1974) – знаменитый американский летчик-рекордсмен, первым совершивший беспосадочный перелет через Атлантический океан (20–21 мая 1927 г.) на одноместном моноплане «Дух Сент-Луиса». Стал национальным героем США. В 1932 г. был похищен с целью выкупа; в итоге погиб его полуторагодовалый сын. Вследствие этого преступления в 1934 г. в США был принят т. н. закон Линдберга – суровый антитеррористический акт, запрещающий перевоз через границы штатов похищенных лиц и требование выкупа за них.

– Сегодня ты был хорошим мальчиком, – сказала она, – разрешаю взять велосипед с собой в кровать.

– Правда? – воскликнул я, не веря собственным ушам.

– Да, Генри, – ответила она, – Джо Фолджер был у нас и только что ушел. Он говорит, что следующим чемпионом мира будешь ты.

– *Неужели так и сказал, мама? Нет, правда?*

– Да, Генри, слово в слово. Он сказал, что нужно получше тебя кормить. А то ты худенький.

– Мамочка, я самый счастливый человек на свете. Дай я тебя расцелую.

– Не глупи, ты знаешь, что я не люблю этого.

– Ну и что, мамочка, все равно поцелую. – И я так крепко стиснул ее в объятиях, что чуть не задушил.

– Ты и в самом деле разрешаешь, мамочка? Взять с собой в кровать велосипед?

– Да, Генри. Но только не запачкай простыней!

– Не волнуйся, – завопил я, не помня себя от восторга. – Я проложу старые газеты.

Хорошо я придумал?

Я проснулся и стал шарить вокруг себя в поисках велосипеда.

– Чего ты пытаешься найти? – закричала Мона. – Последние полчаса ты постоянно хватаешь меня.

– Я искал велосипед.

– Велосипед? Какой велосипед? Ты, должно быть, еще спишь.

– Спал, – улыбнулся я, – и видел восхитительный сон. Про свой велик.

Она прыснула со смеху.

– Знаю, что звучит глупо, но сон был потрясающий. Как мне было хорошо!

– Эй, Тед, – позвал я, – ты здесь?

Нет ответа. Я позвал снова.

– Ушел, наверно, – пробормотал я. – Который теперь час?

Была середина дня.

– Хотел сказать ему кое-что. Жаль, что он уже ушел. – Я перевернулся на спину и уставился в потолок. Перед глазами плыли обрывки сновидения. Я испытывал неземное блаженство. И голод. – Знаешь что, – проговорил я, еще не вполне проснувшись, – стоит, пожалуй, сходить к двоюродному братцу. Может, одолжит на время свой велосипед. Как думаешь?

– Думаю, что ты впадаешь в детство.

– Может быть, но мне очень хотелось бы снова покататься на том велике. Он принадлежал гонщику-профессионалу; он продал мне его на треке, помнишь?

– Ты мне уже несколько раз рассказывал об этом.

– И что с того, разве тебе не интересно? Ты, наверно, никогда не каталась на велосипеде, да?

– Никогда, зато каталась на лошади.

– Это ничего не значит. Жокеем быть – другое дело. А, черт, глупо, наверно, думать о том велосипеде. Столько лет прошло.

Я резко сел в постели и уставился на нее:

– Что с тобой сегодня? Что тебя гложет?

– Ничего, Вэл, ничего. – Она слабо улыбнулась.

– Это уже слишком, – не отставал я. – Ты на себя не похожа.

Она спрыгнула с кровати, сказала:

– Одевайся, а то скоро стемнеет. Я приготовлю завтрак.

– Отлично. Можно яичницу с беконом?

– Все что хочешь. Только поторопись!

Я повиновался, хотя не видел причин торопиться. Настроение у меня было отличное, и я был голоден как волк. В ожидании завтрака я раздумывал, что ее мучит. Может, наступают ее дни?

Очень жаль, что О’Мара удрал так рано. Хотелось бы рассказать ему кое-что пришедшее мне в голову, когда я просыпался. Ладно, думаю, что не забуду.

Я раздвигаю шторы, и солнце затопляет комнату. Мне кажется, что этим утром на улице особенно красиво. На другой стороне, у тротуара, стоит лимузин, ожидающий миледи, которая делает покупки. На заднем сиденье – две борзые, сидят спокойно и с достоинством. Цветочница вручает миледи огромный букет. Вот это жизнь! Однако мне нравится моя. Если б только у меня снова был тот велосипед, больше ничего не было б нужно. Сон не выходит у меня из головы. *Чемпион!* Что за странная идея!

Едва мы кончаем завтракать, Мона объявляет, что ей нужно побывать в одном месте. Уверяет, что к обеду вернется.

– Пожалуйста, – говорю, – иди, раз надо. Ничего не могу с собой поделать, но я чувствую себя до того чудесно, что не выразить словами. Что бы ни случилось сегодня, все равно мне будет хорошо.

– Прекрати! – говорит она умоляющим голосом.

– Прости, детка, но тебе тоже станет лучше, как только выйдешь на улицу. День прямо-таки весенний.

Спустя несколько минут она уходит. Я ощущаю такой прилив энергии, что не могу решить, за что взяться. Наконец решаю не делать ничего – просто нырну в подземку и поеду на Таймс-сквер.

По ошибке я вышел на Центральном вокзале. На Мэдисон-авеню мне приходит мысль заглянуть к моему старому приятелю Неду. Я не видел его целую вечность. (Он опять занялся рекламой и проталкиванием всяческого товара.) Зайду, поздороваюсь и тут же уйду.

– Генри! – вопит он. – Сам Бог тебя послал. Я горю! Раскручивается большое дело, а у нас все больны, сидят по домам. Вот это, – он помахал листом бумаги, – нужно кончить к вечеру, пропади оно пропадом. Вопрос жизни и смерти. Не смейся! Я говорю серьезно. Погоди, дай объяснить...

Я уселся и стал слушать. Если коротко, он пытался написать о новом журнале, который они проталкивали на рынок. Пока у него была только голая идея, и ничего больше.

– У тебя получится, уверен, – умолял он. – Напиши что угодно и сколько угодно, в пределах разумного. Мне ничего не приходит в голову, говорю тебе. За этим делом стоит старик Макфарланд – ты знаешь его, так ведь? Мечется у себя в кабинете, как тигр в клетке. Грозит всех поувольнять, если немедленно не сдвинем дело с мертвой точки.

Ничего не оставалось, как согласиться. Я взял его листок и сел за машинку. Вскоре я уже строчил как из пулемета. Должно быть, я написал три или четыре страницы, когда он на цыпочках подошел, чтобы проверить, как продвигается дело, и начал читать, заглядывая мне через плечо. Минуту спустя он уже аплодировал и кричал: «Браво! Браво!»

– Сойдет? – спросил я, оглядываясь на него.

– *Сойдет?* Да это просто грандиозно! Слушай, ты лучше того парня, который сидит на этом. Макфарланд с ума сойдет, когда прочитает... – Он замолчал, довольно потер руки и хрюкнул. – Знаешь что? У меня есть идея. Хочу представить тебя как нового сотрудника, которого я нанял. Скажу Макфарланду, что уговорил тебя взяться за эту работу...

– Но я не хочу работать!

– Тебе и не обязательно это делать. Конечно не обязательно. Я просто хочу его успокоить, только и всего. Кроме того, главное, что я хочу, – это чтобы ты поговорил с ним. Ты знаешь, кто он и все, что он сделал. Можешь ты малость польстить ему? Умасли его! А потом

начни легкий треп – понимаешь, о чем я. Намекни, что знаешь, как сделать, чтобы журнал расхватывали, чем завлечь читателя и прочую подобную муру. Не стесняйся заливать. Он в таком состоянии, что проглотит что угодно.

– Но я ни черта не смыслю в журнальном деле, – запротестовал я. – Лучше ты сам говори. А я, если хочешь, сзади постою.

– Нет уж, говорить будешь ты. Неси что придет в голову. Поверь, когда он прочтет, что ты написал, он выслушает все, чего бы ты ни сказал. Я не зря сижу на этом деле. Сразу вижу, если что стоящее.

Делать было нечего, пришлось согласиться.

– Но не вини меня, если все заporю, – шепнул я, когда мы на цыпочках направились в святая святых.

– Мистер Макфарланд, – сказал Нед как мог учтивей, – тут мой старый друг, которого я недавно нанял. Он был в Северной Каролине, работал над книгой. Я упросил его приехать и помочь нам. Мистер Миллер, мистер Макфарланд.

Когда мы жали друг другу руку, я бессознательно отвесил почтительный поклон этому столпу журнального мира. Секунду-другую мы молчали. Макфарланд изучал меня. Должен сказать, он мне сразу понравился. Человек действия. Но чувствовалось, что есть в нем поэтическая жилка, это было видно по всему его поведению. «Этот уж точно свое дело знает», – подумал я про себя, удивляясь в то же время, как это он терпит вокруг себя всяческих недоумков и чокнутых.

Нед тут же объяснил, что я появился несколько минут назад и за это короткое время, почти ничего не зная о проекте, написал вот эти заметки, на которые он предлагает обратить внимание.

– Вы писатель? – спросил Макфарланд, глядя на меня и одновременно пытаясь читать протянутые ему листы.

– Вам лучше судить, – дипломатично ответил я.

Последовало несколько минут молчания, в течение которых Макфарланд внимательно читал мой опус. Я чувствовал себя как на иголках. Так просто такого, как Макфарланд, не проведешь. У меня мгновенно выветрилось из головы, что я там написал. Ни одной строчки не мог вспомнить.

Неожиданно Макфарланд поднял глаза, тепло улыбнулся и сказал, что мои заметки выглядят обещающе. Я почувствовал, что он удерживает себя от еще большей похвалы. Теперь он внушал мне почти что любовь. Обманывать такого человека – последнее дело. На него я работал бы с радостью – если бы вообще стал на кого-нибудь работать. Уголкем глаза я заметил, что Нед одобрительно кивает.

На мгновение, собираясь со словами, представляю, что сказала бы Мона, стань она свидетелем этой сцены («И не забудь сказать О’Маре об отцах!» – шепчу я про себя).

Макфарланд заговорил. Он начал так спокойно и плавно, что я не сразу осознал это, а когда осознал, то опять убедился, что он не такой простак. Болтали, что он человек конченный, что его идеи устарели. В свои семьдесят пять он был куда как крепок. Человека такой закваски никогда не выбьешь из седла. Я внимал ему с сияющим лицом, время от времени согласно кивая. Этот человек был мне по душе. Начиненный грандиозными идеями. Игрок и сорвиголова... Я спрашивал себя: может, серьезно подумать о том, чтобы работать на него?

Старикан говорил и говорил, не думая останавливаться. Несмотря на все сигналы, подаваемые Недом, я не мог улучшить момент и вклинуться в его речь. Макфарланд явно был рад нашему вторжению; его распирали идеи, он мерил шагами комнату да так и рвался в бой. С нашим появлением у него появилась возможность выплеснуть все, что в нем накопилось. Я был всецело за то, чтобы дать ему выговориться. Время от времени я энергично кивал

или восклицал, удивленно или согласно. К тому же чем дольше он будет витийствовать, тем уверенней я буду, когда придет моя очередь говорить.

Макфарланд кружил по комнате, то и дело тыча рукой в развешенные по стенам схемы, графики и карты. В любом уголке мира он чувствовал себя как дома, он пересекал земной шар не один раз, так что мог говорить со знанием дела. Насколько я понял, он хотел поразить меня глобальностью замысла: охватить народонаселение всей земли, богатых и бедных, невежественных и образованных. Журнал должен был выходить на нескольких языках, в разных форматах. Ему предстояло совершить революцию в журнальном деле.

Наконец Макфарланд выдохся и замолчал. Уселся за громадный письменный стол и налил себе воды из красивого серебряного кувшина.

Вместо того чтобы попытаться показать, какой я умный, я, после почтительной паузы, сказал, что всегда восхищался им и его идеями. Я говорил искренне и был совершенно уверен, что именно это и требовалось в тот момент. Я чувствовал, что Нед все больше нервничает. Он думал только о том, чтобы я толкнул речь, показал товар лицом. В конце концов он не утерпел:

– Мистер Миллер хотел бы поделиться мыслями относительно...

– Нет-нет! – воскликнул я, вскакивая. Нед озадаченно взглянул на меня. – Я хочу сказать, мистер Макфарланд, что было бы глупостью с моей стороны предлагать свои скороспелые соображения. Мне кажется, вы знаете предмет гораздо полнее и глубже.

Макфарланд был откровенно доволен. Вспомнив вдруг о том, с чем я явился, он глянул в листки, лежавшие перед ним, и изобразил сосредоточенность.

– Долго вы это писали? – спросил он, изучающе глядя на меня. – Раньше занимались чем-то подобным?

Я признался, что это первая моя попытка такого рода.

– Так я и думал, – проговорил он. – Может, поэтому мне понравилось то, что вы написали. Чувствуется свежий взгляд. И вы прекрасно владеете языком. Над чем сейчас работаете, позвольте узнать?

Своим вопросом он припер меня к стене. Ничего не оставалось, как быть искренним и честным, каким он был со мной.

– Видите ли, – забормотал я, – я только недавно начал писать. Пытаюсь пробовать себя в разных жанрах. Несколько лет назад написал книгу, но думаю, не слишком удачную.

– Это и к лучшему, – заметил Макфарланд. – Не люблю блестящие молодые дарования. Нужно пуд соли съесть, прежде чем сможешь что-то сказать. То есть прежде, чем у тебя будет что сказать людям. – Он в раздумье забарабанил пальцами по столу. Потом заключил: – Мне хотелось бы прочесть какой-нибудь из ваших рассказов. Они у вас из реальной жизни или вымышленные?

– Надеюсь, вымышленные.

– Прекрасно! Может быть, вскоре мы попросим у вас что-нибудь для журнала.

Я просто не знал, что на это сказать. Выручил Нед:

– Мистер Миллер скромничает, мистер Макфарланд. Я прочитал почти все, что он написал. У него настоящий талант. Я даже думаю, что он гений.

– Гений, гм! Это еще интересней, – отреагировал Макфарланд.

– Не считаете ли вы, что мне следует доработать эти заметки? – вставил я, обращаясь к старику.

– Не торопитесь, – ответил он, – у нас уйма времени... Скажите-ка мне, чем вы занимались до того, как начали писать?

Я коротко поведал о своих юношеских похождениях. Когда я начал рассказывать о том, что испытал в Космококковом царстве, он выпрямился в кресле. Вопрос следовал за вопросом. Макфарланд заставлял меня углубляться в подробности. Вскоре он уже расхаживал по

комнате, словно тигр. «Продолжайте, продолжайте! – подбадривал он меня. – Я слушаю». Он жадно ловил каждое слово и то и дело восклицал: «Превосходно, превосходно!»

Неожиданно он резко остановился передо мной:

– Вы уже написали об этом?

Я отрицательно покачал головой.

– Хорошо! Если бы я заказал серию очерков... как, смогли бы вы написать их так, как только что рассказывали?

– Не знаю, сэр. Надо попробовать.

– Попробовать? Вздор! Надо не пробовать, а делать, друг мой. Делать не откладывая... Возьми! – И он протянул мои странички Неду. – Не позволяй этому парню тратить время на подобные пустяки. Найди для этого кого-нибудь другого.

– Но у нас некому этим заниматься, – ответил Нед, восхищенный и одновременно приунывший.

– Тогда иди и найди! – взревел Макфарланд. – Для такого дела нетрудно найти людей.

– Слушаюсь, сэр.

Макфарланд снова подошел ко мне и поднял палец.

– Что до вас, молодой человек, – заговорил он, чуть не брызжа слюной мне в лицо, – отправляйтесь домой и садитесь за работу. Нынче же вечером. Мы пустим ваш материал в первом номере. Только никакой литературы, понятно? Я хочу, чтобы вы рассказали свою историю читателям точно так же, как минуту назад рассказывали ее мне. Сможете надиктовать ее стенографистке? Полагаю, что не сможете. Очень плохо. Это был бы наилучший выход. Теперь слушайте меня... Я уже не желторотый юнец. Много повидал и встречал массу людей, которые считали себя гениями. Пусть вас не беспокоит, гений вы или нет. Не думайте даже о том, что вы писатель. Просто рассказывайте – легко и естественно, как если бы рассказывали приятелю. Будете рассказывать мне, ясно? Я ваш приятель. И я не знаю, писатель вы или нет. У вас есть что рассказать мне, и это мне интересно... Если справитесь с этой работой, предложу вам кое-что более интересное. Я могу отправить вас в Китай, Индию, Африку, Южную Америку – куда захотите. Мир огромен, и такому парню в нем всегда найдется место. К тому времени, когда мне стукнуло двадцать один, я уже трижды объехал земной шар. К двадцати пяти знал восемь языков. В тридцать владел несколькими журналами. Не один раз был миллионером. Но для меня это ничего не значило. Не позволяйте деньгам занимать все ваши мысли! Я и разорился – пять раз. И сейчас разорен. – Он постучал себе по голове. – Если здесь варит, если есть смелость и воображение, всегда найдутся люди, которые ссудят тебя деньгами... Он бросил быстрый взгляд на Неда и сказал: – Я проголодался. Не можешь ли послать кого-нибудь за сэндвичами? Совсем забыл про ланч.

– Я сам схожу, – ответил Нед, направляясь к двери.

– Захвати побольше, чтобы нам всем хватило! – крикнул вдогонку Макфарланд. – Ты знаешь, с чем я люблю. И кофе принеси – покрепче.

Вернувшись, Нед увидел, что мы болтаем, как старые приятели, и расплылся от удовольствия.

– Я только что рассказывал мистеру Макфарланду, что ни в какой Северной Каролине не был, – признался я. Физиономия у Неда вытянулась. – К тому же он знает дом, в котором я живу. Судья, что прежде жил в нашей квартире... в общем, они с мистером Макфарландом давнишние друзья.

– Думаю послать этого молодого человека, – сказал Макфарланд, – в Африку, после того как он напишет для нас серию очерков. В Тимбукту! Он говорит, что всегда мечтал туда попасть.

– Прекрасно, – отозвался Нед, раскладывая сэндвичи на письменном столе Макфарланда и разливая кофе.

– Путешествовать надо, пока молод, – продолжал Макфарланд. – И когда в кошельке негусто. Помню, как я в первый раз оказался в Китае... – Не докончив, он принялся жевать. – Если забываешь поесть, значит ты еще живешь.

Я ушел от него через час или около того. Голова у меня шла кругом. Нед вынудил меня пообещать, что я закончу свои заметки дома, не ставя об этом в известность шефа, и сказал, что я, без сомнения, понравился старику. Макфарланд поймал меня в холле, когда я ждал лифт. «Не подведешь меня? Отправь материал сегодня же, срочной почтой. Работай всю ночь, если понадобится. Благодарю!» И он пожал мне руку.

Когда я вернулся домой, в квартире было темно. Я был в таком возбуждении, что пришлось пропустить пару стаканов шерри, чтобы немного остыть. Интересно, что скажет Мона, когда узнает о грандиозном моем успехе. Я совсем забыл о заметках, лежавших в кармане, – я мог думать только о Тимбукту, Китае, Индии, Персии, Сиаме, Борнео, Бирме, великом колесе судьбы, пыльных караванных дорогах, ароматах и диковинах Дальнего Востока, лодках, поездах, пароходах, верблюдах, зеленых водах Нила, мечети Омара... Древний Фес, неведомые языки, джунгли, вельд, нищета, калеки у храмов и монахи, фокусники, лекари-шарлатаны, соборы, пагоды, пирамиды. В голове у меня такое творилось, что, не появившись кто-нибудь вскоре, я бы сошел с ума.

Я сидел в таком состоянии в большом кресле у окна. Трепетало пламя свечи. Неожиданно дверь тихо отворилась. Это была Мона. Она подошла ко мне, обняла и нежно поцеловала. Я почувствовал слезы на ее лице.

– Тебе все еще грустно? В чем, черт возьми, дело?

Вместо ответа она села мне на колени. Мгновение спустя она уже рыдала на моей груди. Я дал ей поплакать, молча поглаживая по голове.

– Это так ужасно? – спросил я наконец. – Неужели даже *мне* не можешь рассказать?

– Нет, Вэл, не могу. Слишком это отвратительно.

Слово за слово, и я все-таки вытянул из нее, что произошло. Опять ее семейка. Она должна была повидаться с матерью. Дела обстояли хуже, чем всегда. Что-то там с закладной – надо срочно платить, иначе они лишатся дома.

– Но главное не это, – сказала она, продолжая хлюпать, – а то, как она со мной обращается. Как будто я грязная. Она не верит, что я замужем. Обозвала меня шлюхой.

– Раз так, то, ради бога, брось думать о ней, – разозлился я. – Мать, которая говорит такое, не имеет права называться хорошей матерью. Нет, это невероятно. Где мы возьмем три тысячи долларов, да еще срочно? Она, должно быть, рехнулась.

– Пожалуйста, Вэл, не надо. Мне от этого только становится хуже.

– Я ее презираю, – не мог успокоиться я. – Не моя вина, что она твоя мать. По мне, так она просто пиявка. Пусть сама разбирается со своими делами, безмозглая старая сука.

– Вэл! Вэл! *Пожалуйста*... – Она снова зарыдала, пуще прежнего.

– Хорошо, больше не скажу ни слова. Извини, что позволил себе выразиться.

В этот момент звякнул дверной колокольчик, потом раздался быстрый стук в оконную раму. Я вскочил и бросился открывать. Мона продолжала плакать.

– Будь я проклят! – воскликнул я, увидев, кто пришел.

– И следовало бы тебя проклясть – прячешься от близкого друга столько времени. Я тут за углом живу, а о тебе ни слуху ни духу. Как всегда, а, шельмец? Ладно, как поживаешь? Могу я войти?

Это был Макгрегор, которого в тот момент мне хотелось видеть меньше всего.

– Что стряслось... кто-то умер? – воскликнул он, увидев свечу и Мону, съезжившуюся в кресле и горько плачущую. – Поссорились, что ли? – Он подошел к Моне, протянул руку и, помявшись, погладил ее по волосам. – Не позволяй ему обижать себя, – промямлил он, пытаясь изобразить участие. – Нашли чем заниматься в такой прекрасный вечер. Вы, ребята,

еще не обедали? А я-то хотел пригласить вас пойти куда-нибудь. Не представлял, что у вас тут дом плача.

– Бога ради, можешь ты помолчать! – взмолился я. – Почему бы не подождать, пока я все не объясню.

– Пожалуйста, Вэл, не говори ничего, – проговорила сквозь слезы Мона. – Сейчас я буду в порядке.

– Вот это другой разговор, – сказал Макгрегор, сел рядом с ней и с глубокомысленным видом изрек: – Никогда не стоит отчаиваться.

– Ради бога, хватит чушь молоть! Разве не видишь, что у нее неприятности?

Макгрегор тут же переменился. Вскочив на ноги, он спросил:

– Что случилось, Ген, что-то серьезное? Извини, если лезу не в свое дело.

– Ладно уж, только помолчи немного. Я рад, что ты зашел. Может, это хорошая мысль, пойти куда-нибудь пообедать.

– Вы идите, а я лучше побуду дома, – умоляюще сказала Мона.

– Если я могу чем-нибудь помочь... – начал Макгрегор.

Я расхохотался:

– Можешь, конечно можешь. Найди нам три тыщи долларов к утру!

– Господи, из-за этого-то вы в таком горе? – Он вынул из нагрудного кармана толстую сигару, откусил кончик. – А я уж думал, у вас действительно трагедия.

– Это шутка, – ответил я. – Дело совсем не в деньгах.

– Я всегда могу вам одолжить десятку, – бодро сказал Макгрегор. – Когда речь заходит о тыщах, мне это дико слышать. Никто не в состоянии взять и выложить три тыщи долларов, или ты этого не знаешь?

– Да не нужно нам трех тысяч, – отмахнулся я.

– Тогда что она плачет, просто так?

– Пожалуйста, уйдите и оставьте меня в покое, – всхлипнула Мона.

– Мы не можем этого сделать, – сказал Макгрегор, – это не по-спортивно. Слушай меня, девочка, что бы там ни было, уверяю, все не так уж плохо. Всегда найдется выход, помни это. Вставай, пойдешь умыться, приоденешься, ладно? На этот раз я отведу вас в *хороший* ресторан.

Дверь неожиданно распахнулась. На пороге стоял О'Мара, слегка под мухой. Вид у него был такой, будто он принес нам манну небесную.

– А *ты* каким образом здесь оказался? – приветствовал его Макгрегор. – Последний раз мы виделись, когда играли в покер. Ты меня обжулил на девять баксов. *Как дела?* – И протянул ему лапу.

– О'Мара живет с нами, – поспешил я объяснить.

– Тогда понятно, – сказал Макгрегор. – У вас, ребята, действительно есть о чем волноваться. Я бы не доверял этому типу, даже если б на него надели смирительную рубаху.

– Что тут у вас происходит? – всполошился О'Мара, заметив, что Мона забилась в уголок кресла и лицо у нее все в слезах. – Что стряслось?

– Ничего серьезного, – бросил я, – потом расскажу. Ты обедал?

Прежде чем он успел что-то ответить, Макгрегор заволновался:

– *Его* я не приглашал. Конечно, он может пойти, если сам за себя заплатит. Но не как мой гость.

О'Мара только усмехнулся. Он был в слишком хорошем настроении, чтобы расстраиваться по пустякам.

– Слушай, Генри, – О'Мара сделал плавный жест и ухватил бутылку шерри, – я много чего могу порассказать тебе. Нечто потрясающее. Удачный был сегодня день.

– У меня тоже, – сообщил я.

– Не возражаете, если и я угощусь? – спросил Макгрегор. – Я смотрю, вы такие сегодня удачливые и счастливые, может, я тоже развеселюсь, если выпью.

– Идем мы обедать или нет? – стал торопить О’Мара. – Не могу ничего рассказывать, пока не усядемся где-нибудь за столиком. Не хочется комкать такую историю.

Я вернулся к Моне:

– Ты уверена, что не хочешь пойти с нами?

– Да, Вэл, уверена, – ответила она слабым голосом.

– Ну пойдем, – стал уговаривать ее О’Мара. – У меня для вас потрясающие новости.

– Конечно, соберись, возьми себя в руки, – поддержал его Макгрегор. – Не каждый день я приглашаю людей пообедать, особенно в *хорошем* ресторане.

В результате Мона наконец согласилась. Мы уселись, поджидая, когда она приведет себя в порядок. Выпили еще шерри.

– Знаешь, Ген, – сказал Макгрегор, – я, кажется, могу кое-что сделать для тебя. Чем ты сейчас занимаешься? Пишешь, я полагаю. И сидишь без гроша, да? Слушай, нам в офисе нужна машинистка. Платят не много, но это поможет как-то перебиться. Я хочу сказать, пока ты не станешь известным. – Он отвел глаза и хихикнул.

О’Мара рассмеялся ему в лицо:

– *Машинистка!* М-да!

– Это чрезвычайно благородно с твоей стороны, Мак, – сказал я. – Но в данный момент мне не нужна работа. Она у меня уже есть. Как раз сегодня я получил сногшибательное предложение.

– *Что?* – завопил О’Мара. – Ну и ну, не говори мне такого! Я только что договорился насчет тебя – тоже отличная работа. Об этом я и хотел рассказать.

– Вообще-то, это не совсем работа, – объяснил я, – а разовый заказ. Я буду писать серию очерков для нового журнала. А потом, может быть, поеду в Африку, Китай, Индию...

Макгрегор был вне себя.

– Забудь об этом, Генри, – взорвался он, – тебя просто дурачат. Работа, о которой говорю я, даст тебе двадцать долларов в неделю. *Это реальные деньги*. Пиши свои очерки в свободное время. Если там у тебя выгорит, ты ничего не потеряешь. Идет? Но скажи честно, Генри, неужели ты еще не знаешь, что нельзя верить подобным обещаниям? Когда ты только повзрослеешь?

В этот момент к нам присоединилась Мона:

– Что вы тут говорили о какой-то работе? Вэл не собирается идти работать. Так что все это чепуха.

– Ладно, пошли, – скомандовал Макгрегор. – Местечко, куда я вас приглашаю, во Флэт-буше. Я на машине.

Мы забрались на сиденья и покатали в ресторан. Хозяин, похоже, хорошо знал Макгрегора. Наверно, тот бывал здесь не раз.

Я изумился, когда Макгрегор сказал:

– Заказывайте что хотите. Может, сперва по коктейлю, не против?

– Есть у него хорошее вино? – осведомился я.

– Кто говорит о вине? – вскинулся Макгрегор. – Я спросил, не желаете ли сперва пропустить по коктейлю?

– Не откажусь, конечно. Я только еще хочу взглянуть на карту вин.

– Это похоже на тебя. Вечно с тобой трудности. Давай, я не против, заказывай вино, если нужно. Я к нему не притронуся. У меня от этой кислятины желудок болит.

Нам подали превосходный суп, затем сочных жареных утят.

– Говорил я, что это отличное местечко? – торжествовал Макгрегор. – Когда я тебя обманывал, негодяй ты этакий, скажи мне... Так ты не желаешь работать за машинкой, это тебя не устраивает, да?

– Вэл – писатель, а не машинистка, – резко ответила за меня Мона.

– Знаю, что он писатель, но писатель тоже должен иногда что-то есть, разве не так?

– Неужели он похож на голодающего? – парировала Мона. – Ты что, пытаешься купить нас своей хорошей кормежкой?

– Я не стал бы разговаривать в таком тоне с добрым другом, – начал закипать Макгрегор. – Я просто хотел быть уверен, что у него все в порядке. Я знал Генри, когда ему жилось несладко.

– Те времена прошли, – сказала Мона. – Пока я с ним, ему никогда не придется голодать.

– Прекрасно! – раздраженно воскликнул Макгрегор. – Иного я от тебя и не ожидал. Но ты уверена, что всегда сможешь поддерживать его? А если с тобой что случится? Если заболеешь и не сможешь зарабатывать?

– Ты говоришь чушь. Со мной просто не может ничего случиться.

– Многие так думают и тем не менее ошибаются.

– Кончай, не то накараешь, – взмолился я. – Слушай, скажи нам правду. Почему тебе так хочется, чтобы я пошел на эту работу?

Он широко улыбнулся.

– Официант, еще вина! – крикнул он, потом, посмеиваясь, сказал: – Разве могу я что-нибудь скрывать от тебя, Генри? Значит, правду. Правда в том, что я хотел, чтобы ты был рядом, а так было бы, согласишься ты на мое предложение. Мне не хватает тебя. Вообще говоря, платят там только пятнадцать в неделю; я собирался накидывать тебе пятерку из своего кармана. Просто за удовольствие видеть тебя рядом, слушать твои бредни. Ты представить себе не можешь, какие они все тоскливые, эти ублюдки-юристы. Я и половины не понимаю из того, о чем они говорят. Что до самой работы, то ее не много. Ты мог бы писать какие хочешь рассказы – или что ты там пишешь. Это я имею в виду. Ты знаешь, последний раз мы виделись больше года назад. Сперва я обижался. Потом подумал: черт, ведь он только что женился. Я знаю, как это бывает... Значит, ты всерьез решил заделаться писателем, да? Что ж, тебе видней. Это тяжелое дело, но, может, ты сумеешь победить. Я сам иногда подумываю, не начать ли мне тоже писать. Конечно, я никогда не считал себя гением. Когда вижу, каким хламом завалены полки в книжных магазинах, понимаю, что гении никому не нужны. Здесь царит такое же паскудство, как в адвокатском деле, хочешь – верь, хочешь – не верь. Не сомневайся, я обо всем договорился! Мой старик был разумней любого из нас, когда завел скобяную торговлю. Еще всех нас переживет, хрен старый.

– погоди ты, – не вытерпел О’Мара, – могу я вставить словечко? Генри, я уже больше часа пытаюсь сказать тебе кое-что. Я сегодня встретил парня, который без ума от тебя. Он выложил денежки за годовую подписку на «натюрморты»...

– «Натюрморты»? О чем это он? – воскликнул Макгрегор.

– Мы потом тебе расскажем... Продолжай, Тед!

О’Мара, как водится, начал от печки. Насколько я понял, он так и не смог уснуть после нашего разговора о сиротском приюте. Сначала его одолевали мысли о прошлом, потом обо всем на свете. Несмотря на то что он не спал, он поднялся рано, горя желанием что-то предпринять. Сунув мои листы – все скопом – в портфель, он решил предложить их первому встречному. На счастье, он передумал и отправился в Джерси-Сити. Первое место, куда он ткнулся, оказалось лесоскладом. Хозяин только что явился в контору и был в хорошем настроении.

– Я налетел на него, как грузовик с кирпичом, просто сшиб с ног, – рассказывал О’Мара. – По правде говоря, не помню, что я плел. Я знал только одно: что должен продать ему твои творения.

Босс оказался славным парнем. Он ничего не понял, но готов был помочь. Каким-то образом О’Маре удалось повернуть все так, что это выглядело как сугубо личное дело. Он старался ради своего хорошего друга Генри Миллера, в которого свято верил. Парень был не большой любитель книг и прочего в том же роде, но перспектива оказаться благодетелем будущей знаменитости, как ни странно, ему понравилась.

– Он подписывал чек, – продолжал О’Мара, – когда мне пришла мысль заставить его раскошелиться еще. Сперва я, конечно, спрятал чек в карман, а потом вытащил твои рукописи. Я положил всю кипу ему на письменный стол, сунул, можно сказать, под нос. Он немедленно захотел узнать, сколько тебе понадобилось времени, чтобы написать такую уйму слов. Я сказал: шесть месяцев. Он чуть не свалился с кресла. Естественно, я трещал без умолку, чтобы он, чего доброго, не начал читать твою писанину. Немного погодя он наклонился и нажал кнопку. Явилась секретарша, и он скомандовал: «Принесите папки по той рекламной кампании, что мы вели в прошлом году».

– Мне уже все понятно, – поскущел я.

– погоди, Генри, дай закончить. А теперь – хорошая новость.

Я позволил ему молоть дальше. Как я и предвидел, речь шла о работе. Только не нужно было ходить в контору каждый день: можно было работать дома.

– Конечно, время от времени придется приходить к нему на часок, – продолжал О’Мара. – Он умирает от желания встретиться с тобой. Больше того, он будет прилично платить. Для начала семьдесят пять долларов в неделю. Каково? Ты получишь от пяти до десяти тысяч. Как пить дать. Я сам бы взялся, если б умел писать. Я принес тут какую-то дрянь, он хочет, чтобы ты взглянул. Тебе это написать – раз плюнуть.

– Заманчиво, – сказал я, – но я уже получил сегодня предложение получше этого.

О’Мара выслушал меня без энтузиазма.

– Сдается, – подал голос Макгрегор, – что вы, парни, прекрасно обойдетесь без моей помощи.

– Все это глупости, – изрекла Мона.

– Слушай, – обиделся О’Мара, – почему ты не даешь ему немного заработать честным путем? Это всего на несколько месяцев. Потом он может поступать как знает.

Слово «честный» прозвучало для Макгрегора как сигнал.

– Чем он сейчас занимается? – спросил он и поглядел на меня. – Думаю, что ты пишешь. Что это такое, Ген, над чем ты сейчас работаешь?

Я рассказал в двух словах, избегая подробностей, чтобы не шокировать Мону.

– Думаю, в кои-то веки О’Мара прав, – заметил Макгрегор. – Тут тебе ничего не светит.

– Занимались бы лучше своим делом, – выпалила Мона.

– Ну-ну, не заносись, – скривился Макгрегор. – Мы старые друзья Генри. Никогда не советовали ему ничего плохого, разве не так?

– Он не нуждается в советах, – отрезала Мона. – Сам знает, что делать.

– Ладно, сестренка, тогда сама и выкручивайся! – Он резко повернулся ко мне. – Что это за предложение, о котором ты начал рассказывать? Что-то там про Китай, Индию, Африку...

– А-а, *это*? – протянул я и заулыбался.

– Чего ты темнишь? Слушай, может, возьмешь меня секретарем? Я тут же брошу свою контору. Я серьезно, Генри.

Мона вышла под тем предлогом, что ей нужно позвонить. Это означало, что она и слышать не желает о «предложении».

– Что ее мучит? – спросил О’Мара. – Отчего она плакала, когда я вернулся?

– Ерунда, – ответил я. – У ее стариков сложности. Полагаю, дело в деньгах.

– Она у тебя со странностями, – покачал головой Макгрегор. – Ничего, что я так говорю? Я знаю, что она предана тебе, но ее идеи все какие-то несуразные. Доведет она тебя до беды, если не будешь начеку.

– Ты мало смыслишь в жизни, – в тон ему закудахтал О’Мара. Глаза у него блестели. – Поэтому-то я и суетился так утром, чтобы помочь тебе.

– Знаете, парни, перестаньте беспокоиться обо мне. Я знаю, что делаю.

– Черта с два ты знаешь! – закричал Макгрегор. – Ты говоришь это с тех пор, как я тебя знаю, – *и чего ты достиг?* Всякий раз, как мы встречаемся, у тебя новые несчастья. Когда-нибудь ты попросишь меня спасти тебя от тюрьмы.

– Ну хорошо, хорошо, только давайте поговорим об этом в другой раз. Она возвращается, сменим тему. Не хочу раздражать ее больше, чем нужно, – у нее сегодня трудный день.

– Так что у тебя на самом деле много отцов, – продолжал я без паузы, глядя в упор на О’Мару. Мона опустила на стул. – Это вроде того, что я говорил только что...

– Это что, какой-то шифр? – удивился Макгрегор.

– Не для него, – ответил я, не меняя невозмутимого выражения лица. – Надо было бы объяснить тебе, о чем мы разговаривали прошлой ночью, но это заняло бы слишком много времени. Во всяком случае, как я уже говорил, когда я проснулся, я точно знал, что тебе сказать. – Все это время я не сводил глаз с О’Мары. – И сон тут был ни при чем.

– Что за сон? – спросил Макгрегор, начиная злиться.

– Сон, который я только что рассказывал тебе. Послушай, дай мне договориться с ним.

– Официант! – позвал Макгрегор. – Узнайте у этих джентльменов, что они хотят выпить, хорошо? – И нам: – Пойду отолю.

– Ситуация такая, – продолжал я, обращаясь к О’Маре, – тебе повезло, что ты потерял отца, будучи еще ребенком. Теперь ты можешь обрести отца подлинного – и подлинную мать. Но важнее все-таки обрести отца, нежели мать. Ты уже обрел нескольких отцов, но не знаешь об этом. Ты богач, парень. Зачем воскрешать мертвого? Обернись лицом к живым! Черт подери, кругом полно отцов, куда ни глянь, отцов лучших, чем тот, что дал тебе свое имя, или тот, что отправил тебя в приют. Чтобы найти подлинного своего отца, сперва надо стать хорошим сыном.

О’Мара только часто моргал.

– Продолжай, – попросил он, – это *звучит* интересно, хотя я ни черта не понимаю.

– Но это просто, – сказал я. – Вот смотри – возьмем, к примеру, меня. Ты когда-нибудь задумывался над тем, как тебе повезло, что ты нашел *меня*? Я тебе не отец, зато какой отличный брат. Задаю я тебе какие-нибудь дурацкие вопросы, когда ты даешь мне деньги? Заставляю искать работу? Говорю что-нибудь, если ты день напролет валяешься в постели?

– Что все это значит? – требовательно спросила Мона, невольно улыбаясь.

– Ты отлично знаешь, о чем я говорю, – откликнулся я. – Ему нужно, чтобы его любили.

– Всем нам это нужно, – сказала Мона.

– Ничего нам не нужно, – возразил я. – Если уж говорить правду. Мы счастливики, каждый из нас. Едим каждый день, хорошо спим, читаем книги, которые нам нравятся, ходим иногда посмотреть какое-нибудь шоу... а еще у нас есть друзья, то есть мы сами. *Отец*? На кой он нам сдался? Слушайте, тот сон мне все объяснил. Даже велик мне не нужен. Если я могу покататься во сне, прекрасно! Это лучше, чем на самом деле. Во сне не проколешь колесо; а если проколешь, это ничего не значит. Можно кататься весь день и всю ночь и ничуть не устанешь. Тед был прав. Нужно научиться снолечению... Не приснишь мне тот сон, я не встретился бы сегодня с Макфарландом. О, я же еще не рассказывал вам об этом? Ну ничего, как-нибудь в другой раз. Главное в том, что я получил возможность писать – для нового журнала. И возможность путешествовать...

- Ты мне ничего не говорил об этом, – наострила уши Мона. – Я хочу знать...
- О, *звучит* это прекрасно, – сказал я, – но боюсь, опять ничего не выйдет.
- Не понимаю, объясни, – настаивала Мона. – Что ты будешь писать для него?
- Историю своей жизни, ни больше ни меньше.
- А?..

- Не думаю, что смогу. Во всяком случае, так, как он хочет.
- Ты чокнутый, – заметил О'Мара.
- Собираешься отказаться? – спросила Мона, совершенно сбита с толку.
- Мне надо подумать.

– Ничего не соображаю, – заволновался О'Мара. – Такой шанс выпадает раз в жизни, а ты... ведь человек вроде Макфарланда может в два счета сделать тебя знаменитым.

– Знаю, – ответил я, – но именно этого я и боюсь. Еще не готов к тому, чтобы стать знаменитым, не готов к успеху. Или, вернее, не хочу такого рода успеха. Между нами – говорю вам как на духу, – я не умею писать. Пока не умею! Я это понял в ту минуту, когда он предложил написать эти чертоты очерки. Потребуется много времени, прежде чем я научусь говорить то, что хочу сказать. Может быть, не научусь никогда. И скажу вам другое, раз уж затронул эту тему... До того как это произойдет, я не хочу нигде работать... ни в рекламе, ни в газете, ни где-то еще. Все, что я хочу, – это брести своей дорогой. Повторяю, я знаю, что делаю. Чего хочу. Может быть, это неразумно, но это мой путь. Не могу я идти никакой другой дорогой, это вы понимаете?

О'Мара молчал, но я чувствовал, что он меня одобряет. Для Моны это, конечно, было слишком. Она-то считала, что я недооцениваю себя, но была ужасно довольна, что я не собираюсь идти работать. Она снова повторила то, что говорила мне всегда: «Я хочу, чтобы ты поступал так, как велит тебе душа, Вэл. Не хочу, чтобы ты думал о чем-то еще, кроме своей работы. Не важно, сколько на это уйдет времени, десять лет, двадцать. Не важно, если ты никогда не добьешься успеха. Просто пиши!»

- На это уйдет десять лет? – спросил вернувшийся в этот момент Макгрегор.

- На то, чтобы стать писателем, – ответил я, добродушно улыбнувшись.

– Ты все о том же? Забудь! Ты и сейчас писатель, Генри, только никто не знает об этом, кроме тебя. Вы уже кончили есть? Мне надо кое-куда заехать. Пошли отсюда. Я подброшу вас до дому.

Мы спешно покинули ресторан. Он вечно спешил, этот Макгрегор, даже, как оказалось, играя в покер. «Дурная привычка, – сказал он, ни к кому не обращаясь. – Я даже никогда не выигрываю. Будь у меня настоящее дело, я б не занимался такой ерундой. А так я просто убиваю время».

– Зачем тебе убивать время? – спросил я. – Разве не можешь остаться с нами? Точно так же мог бы убить время, болтая с нами. То есть если тебе непременно *надо* убивать время.

– Ты прав, – рассудительно ответил он, – никогда об этом не задумывался. Не знаю, но у меня потребность быть постоянно в движении. Это моя слабость.

- Ты хоть читаешь что-нибудь?

– Пожалуй, что нет, Генри, – засмеялся он. – Жду, когда ты напишешь свою книгу. Может, тогда опять начну читать. – Он закурил сигарету. – Нет, иногда я раскрываю какую-нибудь книжку, – застенчиво признался он, – но все что-то не то попадается. Потерял я вкус к чтению. Прочитываю несколько строк, чтобы скорей заснуть, правда, Генри. Теперь я так же не способен читать Достоевского, или Томаса Манна, или Гарди, как и готовить. Не хватает терпения... и интереса нет. На работе слишком изматываешься. Помнишь, Ген, как я учился, когда мы были мальчишками? Господи, как я был тогда честолюбив! Готов был мир перевернуть, помнишь? А *теперь*... ладно... черт с ним! В моем деле начхать, читал ты Достоевского или нет. Важно одно – *способен ли выиграть процесс?* Уверю тебя, для этого не

нужно большого ума. Если ты действительно не дурак, стараешься отвертеться от выступлений в суде. Чтобы другие делали за тебя грязную работу. Да, это известное дело, Генри. С души воротит талдычить одно и то же. Если хочешь, чтобы руки оставались чистыми, нельзя становиться юристом. Потому что в ином случае будешь голодать... Я вот вечно упрекаю тебя, что ты ленивый сукин сын. Но наверно, я тебе завидую. Тебе, похоже, всегда хорошо. Тебе хорошо, даже когда ты подыхаешь с голоду. Мне *никогда* не бывает хорошо. Зачем я женился, ума не приложу. Наверно, чтобы сделать несчастным другого человека. Просто удивительно, как я тираню ее. Чего бы она ни делала, мне все не так. Только и знаю, что орать на нее.

– Брось, – сказал я, чтобы подбодрить его, – не такой ты плохой, каким себе кажешься.

– Ты так думаешь? Пожил бы со мной несколько дней. Послушай, я такое ничтожество, что сам себе противен, – *как тебе это нравится?*

– Почему бы тогда не перерезать себе горло? – широко улыбнулся я. – В самом деле, когда все так плохо, ничего другого не остается.

– И это ты *мне* говоришь? – закричал он. – Я каждый день об этом думаю. Да, сэр, – он резко стукнул кулаком по баранке, – каждый день я спрашиваю себя, стоит жить дальше или нет.

– Беда в том, что это у тебя не серьезно, – сказал я. – Надо только спросить себя, и поймешь.

– Ты не прав, Генри! Все гораздо сложнее, – запротестовал он. – Хотел бы я, чтобы было так просто. Подбросить монетку и сделать, как она ляжет.

– Это не способ, – отозвался я.

– Знаю, Генри, знаю. Но и ты знаешь *меня*. Помнишь былые времена? Господи, я даже не мог решить, сходить в сортир или не сходить. – Он принужденно засмеялся. – Ты заметил, что чем становишься старше, тем меньше все зависит от нас. Ты уже не споришь на каждом шагу. Только ворчишь.

Мы подрулили к дому. Он задержался, чтобы попрощаться.

– Помни, Генри, – сказал он, не отпуская педаль газа, – станет неважно, приходи, для тебя всегда найдется работа в «Рэндал, Рэндал и Рэндал». Двадцатка каждую неделю... Почему бы тебе хоть изредка не заглядывать ко мне? Не заставляй меня все время бегать за тобой!

4

«Я ощущаю в себе озарение столь ослепительное, – говорит Луи Ламбер, – что, наверное, мог бы осветить весь мир, и в то же время чувствую себя скованным, будто нахожусь в куске минерала»⁵³. Эта мысль, которую Бальзак высказывает устами своего двойника, в совершенстве выражает тайную муку, жертвой которой я тогда был. В одно и то же время я жил в двух абсолютно несоприкасающихся мирах. В одном я крутился *веселым вихрем*, в другом – созерцал окружающее. В роли активного существа все принимали меня за того, кем я был или кем казался, в другой – меня не узнавал никто, и менее всех я сам. Не важно, с какой скоростью или сумятицей одни события сменяли другие, всегда наступали периоды, иницилируемые мною самим, когда, погружаясь в созерцание, я полностью выпадал из привычного окружения. Казалось, нужно было всего несколько мгновений отрешенности, дабы я мог обрести себя. Но для того, чтобы писать, требовались гораздо более длительные периоды уединения. Как я уже не раз указывал, писательство мое не прекращалось. Однако внутренний процесс и конкретную его реализацию всегда разделяет – и в то время разделял точно – шаг очень трудный. Сегодня мне зачастую трудно вспомнить, когда и где я высказывал то или иное замечание и действительно ли я его высказывал или только собирался высказать в тот или иной момент. Есть забывчивость обычная и забывчивость особого рода; последняя, более чем вероятно, проистекает от порочной практики одновременно пребывать в двух мирах. Одно из последствий этой склонности – в том, что все происходящее переживаешь бесчисленное количество раз. Хуже того, любое явление, каковое удастся запечатлеть на бумаге, предстает всего лишь бесконечно малой частицей написанного в голове. Всем ведомо восхитительное ощущение, с навязчивой выразительностью посещающее нас во сне, – я имею в виду повторяемость, вхождение в накатанную колею: встречи с одним и тем же человеком снова и снова, прогулки по одной и той же улице, беспокойное переживание одних и тех же жизненных коллизий; так вот, со мной это зачастую происходит не во сне, а наяву. Как часто я терзаю мою память поисками места, где использовал ту или иную мысль, ситуацию или характер! В ужасе я вопрошаю себя, а не записано ли это в той рукописи, которую я по недомыслию уничтожил. И только потом, когда я полностью про «это место» забыл, на меня снисходит озарение: да ведь «это место» – одна из постоянных тем, которые я вынашиваю, выстраиваю перед собой в воздухе и которые я уже описал сотни раз, ни разу еще не положив на бумагу. И я тут же делаю себе заметку – записать все при первой возможности, чтобы тем самым от темы отделаться, похоронив ее навсегда. Делаю заметку – и тотчас о ней забываю... Впечатление такое, будто во мне одновременно звучат две мелодии: одна – для себя, другая – для публичного уха. И вся незадача в том, чтобы втиснуть в партитуру концерта для слушателей хотя бы мимолетный отзвук мелодии внутренней, той, что сопровождает меня постоянно.

В странностях моего поведения друзья заметили следы этих внутренних схваток. И осудили меня именно за отсутствие их в моих писаниях. Я едва их не пожалел. Но во мне всегда жило нечто, своего рода извращение, не позволявшее до конца раскрывать свое «я». «Извращение» выражало себя следующим образом: «Только раскрой свое внутреннее я, и они тебя растерзают». Говоря «они», я имел в виду не только друзей, но и мир в целом.

И все-таки, пусть и считанные разы, наступал великий момент, когда я сталкивался с существом, которому мог отдаться полностью. Увы, существа эти жили лишь в книгах. Более того, они были хуже мертвых, ибо нигде, кроме как в моем воображении, не существовали.

⁵³ «Я ощущаю в себе такую просветленную жизнь, что она может воодушевить целый мир, и я точно заключен в какой-то минерал» (О. де Бальзак. Луи Ламбер. Перев. с фр. В. Г. Рубцовой).

О, какие диалоги я вел с эфемерными родственными душами! Исповедальные беседы, от которых не осталось ни строчки. В самом деле, эти бурные «словоизвержения», как я их нарек, заранее отторгали любую попытку записи. Они велись на несуществующем языке, таком простом, прямом и прозрачном, что словам как таковым в нем не было места. И в то же время это не был немой язык, которым часто пользуются в общении с высшими силами. Это был язык тревоги и мятежа – сердечной тревоги и сердечного мятежа. Но язык беззвучный. И если я вызывал к себе Достоевского, то это был «весь Достоевский» – не только тот, что написал знакомые нам романы, дневники и письма, но *еще и тот*, что известен нам по невысказанному, ненаписанному. Я, так сказать, общался не только с типом, но и с архетипом. Он-то и был исчерпывающим, резонирующим, истинным, несущим в себе ту неповторимую музыку, каковая неотторжима от его имени, не важно, слышится она или нет, записана она или не записана. Музыку, которая может исходить *только* от Достоевского.

После таких неопишимо мятежных собеседований я часто садился за машинку, думая, что момент наконец наступил. «Теперь, – говорил я себе, – у меня получится!» И застыл на месте, недвижимый, дрейфуя в звездном потоке, Я мог сидеть так часами, уйдя в себя, забыв обо всем на свете. А затем, выведенный из транса каким-нибудь внезапным звуком или вторжением, просыпался, вздрагивал, кидал взгляд на чистый лист бумаги и медленно, чуть ли не с мукой печатал фразу или даже обрывок фразы. После чего сидел и вглядывался в слова, будто выведенные незнакомой, чужой рукой. Обычно в этот момент кто-нибудь входил и разрушал чары. Если приезжала Мона, она, конечно, с энтузиазмом врывается в комнату (увидев, что я сижу за машинкой) и просила позволить ей взглянуть на то, что я написал. Иногда, лишь наполовину выйдя из забытья, я продолжал сидеть недвижно, как манекен, пока она изумленно вглядывалась в написанную фразу или ее обрывок. На ее недоуменные вопросы я отвечал глухим, бесстрастным голосом, словно издали, прикинув ртом к мегафону. А случалось, и срывался с цепи, скармливал ей какую-нибудь чудовищную ложь (вроде той, например, что «остальные страницы» я спрятал) и начинал беситься, как буйнопомешанный. Вот тогда-то меня и прорывало настоящим потоком слов! Я словно читал текст по книге. Все, чтобы убедить ее – а еще больше себя! – что я был глубоко погружен в работу, в мысль, в творчество. Пристыженная, она рассыпалась в преувеличенных извинениях: как жаль, дескать, что прервала меня в неподходящий момент. А я легко, небрежно принимал ее извинения, будто хотел сказать: «Не важно! У меня там такого припасено... Нужно только открыть или закрыть кран... Ведь я виртуоз этого дела!» А затем превращал ложь в правду. Как одержимый разматывал нить моего неоконченного опуса: темы, подтемы, вариации, повторы, вставки, – можно было подумать, будто я творил весь день напролет. Ну и конечно, все это сопровождалось кривляньем. Я не только измышлял события и персонажей, я их проигрывал. А бедняжка Мона восклицала: «Ты в самом деле включил все это в рассказ? Все это – в книгу?» (Никто из нас в такие моменты не уточнял: *в какую?*) Когда слово «книга» срывалось у кого-нибудь из нас с языка, предполагалось, что речь идет о книге, которую я либо скоро начну писать, либо уже тайно пишу, чтобы потом показать ей уже завершенной. (Мона неизменно вела себя так, словно была уверена, что мой тайный труд продолжается. Даже делала вид, будто в моменты моего отсутствия искала рукопись.) В такого рода атмосфере не было исключением, что кто-нибудь из нас ссылался на ту или иную главу или отрывок – главу или отрывок, которых на свете не было, но которые никогда не ставились под сомнение как нечто само собой разумеющееся и которые, несомненно, имели для нас большую реальность, нежели написанное черным по белому. Подчас Мона пускалась в подобного рода разговоры в присутствии третьих лиц, что, естественно, приводило к самым невероятным и порой весьма неловким ситуациям. Если наши фантазии слышал Ульрик, проблем не возникало. Ульрик умел включаться в игру не только галантно, но даже вдохновляюще. Он знал, как загладить неуклюжую промашку шуткой и ободрением. Например,

он забывал на какой-то миг, что мы говорим в настоящем времени, и переходил на будущее. («Я знаю, ты, конечно, такую книгу еще напишешь!») Миг спустя, осознав свою ошибку, он добавлял: «Я не хотел сказать *напишешь*: я имел в виду книгу, которую ты *пишешь*, – ведь для того, чтобы говорить о ней так, как ты, нужно погрузиться в нее с головой; иного на этой грешной земле не дано никому. Если я слишком прямолинеен, простите меня, пожалуйста!» В такие моменты мы все наслаждались сознанием свободы. И хохотали до упаду. Ульрик сердечнее всех – и, добавлю, язвительнее. «Хо-хо! – казалось, смеялся он, – ну до чего же мы замечательные лгуны! Ей-богу, у меня получилось совсем неплохо! Поживи я с вами, ребята, еще немного, так скоро не смогу отличить ложь от правды. Даже свою собственную. Хо-хо-хо! Ха-ха-ха! Хи-хи-хи!» И он бил себя по ляжкам и вращал зенками, что твой негритос, а заканчивал характерными причмокиваниями и немой просьбой о капельке другой шнапса... С другими приятелями наши фокусы проходили труднее. Все они задавали «неуместные», как определила их Мона, вопросы. Или же, суется и нервничая, делали отчаянные усилия вернуться обратно на *terra firma*⁵⁴. Кроме Ульрика, лишь Кронски хорошо играл в эти игры. Правда, делал он это немного иначе, хотя, по-видимому, для Моны приемлемо. *Ему* она верила. Наверное, так она внушала себе самой. С Кронски беда была в другом: он играл слишком хорошо. Роль всего лишь сообщника его не устраивала, ему хотелось импровизации. В результате его рвение, само по себе еще не дьяволическое, приводило к весьма странным разговорам – о том, как подвигается работа над мифической книгой. Критический момент наступал с залпом истерического хохота, которым взрывалась Мона. Ее смех означал, что она уже не соображает, где она и что говорит. Я же, со своей стороны, никаких усилий, дабы выдерживать одну линию с остальными, не прикладывал, полагая, что до творящегося в царстве самообмана мне нет никакого дела. Я считал, что от меня требуется лишь сохранять невозмутимое выражение лица и делать вид, будто все происходящее – в порядке вещей. Я смеялся, когда мне хотелось смеяться, поправлял и критиковал других, но ни в коем случае ни словом, ни жестом, ни даже намеком не обнаруживал, что все это – одно лицедейство...

⁵⁴ Твердая земля (*лат.*).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.